

М 17

НИНЕЛЬ МАКСИМЕНКО

ХЛЕБ для ФРОНТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

НИНЕЛЬ МАКСИМЕНКО

**ХЛЕБ
ДЛЯ
ФРОНТА**

ПОВЕСТИ

*Рисунки
В. Высоцкого*



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1984

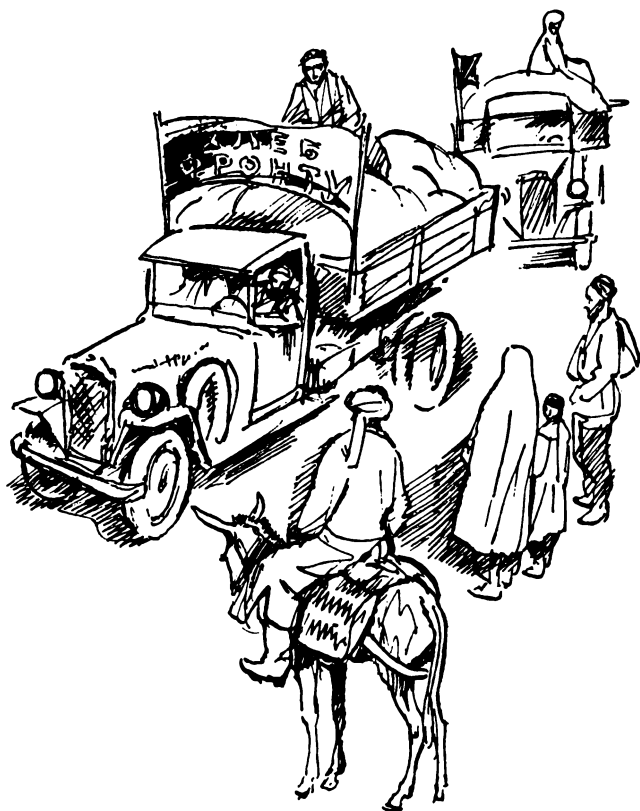
P2
M52

В книге две остросюжетные повести: одна из них — о периоде Великой Отечественной войны, о самоотверженном труде ребят в тылу, о их помощи фронту; вторая — о послевоенном времени, в центре ее приключения мальчика, попавшего в археологическую экспедицию и приобщившегося к профессии археолога.

М 480300000—034 497—83
M101(03)84

«Хлеб для фронта», 1984 г.
«Новые земли Александра Кубова», 1978 г.
Повести.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА».

Мед Для фронта







Первое письмо Юли на фронт к отцу

Дорогой папуля!

Мы приехали в Кок-Арал. Это означает по-узбекски — зеленое море. Но на самом деле оно красное и желтое. Мы ехали, ехали, и все время, все время были тюльпаны красные и желтые. Только не думай, что их посадили, как на бульваре. Они просто так выросли сами. На канале мы застряли и ждали, когда нашу машину вытащит трактор. А пока что кипятили чай, и в чае оказалась лягушка. Вот смех! Чтобы зря не терять время, я тренировалась в своем секретном языке, который я сама придумала. Надо просто говорить наоборот. Например, надо ска-

зять: «Папа уехал на фронт», а я говорю: «Апап лахеу ан тнорф». Если говорить очень быстро, ни за что не догадаешься. Если тебе придется идти в разведку, ты можешь говорить на моем языке, и фашисты не догадаются, что ты красный командир. Только сначала потренируйся.

Остаюсь твоя верная до гроба дочь Ю л и я.

Почему-то мои воспоминания о военном 42-м годе начались с арбуза. Странно, конечно. Столько бед, слез, героизма, трагизма. И у нас в тылу — фронт. А я с арбузом. Ну пусть будет как есть, а дальше увидим.

Я иду на далекие бахчи. Может, три, а может, и пять верст, там их никто не мерил. Мама получила ордер на арбуз. Во время войны что-либо получить можно было только по ордеру. Например, шапку или тетради. А мы вот получили ордер на арбуз. И я за ним шла под палящим солнцем, может, три, а может, пять верст.

Я знала, где бахчи и где стоит хижина сторожа, доброго дедушки Юсупа. Мы с мамой ездили туда на лошади. Вот это было здорово — домчались с ветерком, мама впереди, а я сзади вцепилась в белый мамин китель так, что, когда приехали, я еле руки могла разжать. А как дедушка Юсуп нас тогда встречал! Зеленый чай в пиалах и свежие душистые лепешки и сушеные дыни!

Теперь, когда я пожила в совхозе, потерялась среди взрослых, я перестала быть такой доверчивой, как раньше. Жизненный опыт постепенно отравлял меня. Я уже знала, что часто бывало так: при маме — одно, а при нас, детях, когда никто не стеснялся, — другое.

Но дедушка Юсуп не из таких. Он и меня встретил так, как будто я важный гость, а не пришла всего лишь с ордером на один арбуз. Дедушка Юсуп ужасно смешной, голова точно как арбуз — большая, круглая и завязана большим носовым платком с четырьмя узелочками, рубашки вовсе на нем нет, а штаны зато ватные, стеганные, как он в такую жару в них ходит.



У дедушки Юсупа хижина стоит прямо на бахче, и, оказывается, он в ней так и живет, пока не соберут урожай арбузов и дынь, и дома совсем не бывает, и вообще нигде не бывает. Нельзя, служба такая — все время на посту. Поэтому он радуется, когда к нему кто-нибудь зайдет, хотя бы даже я с ордером на арбуз.

У дедушки Юсупа очень уютно. Около хижины скамейка глиняная и столик низенький, тоже глиняный, а сверху навес из мешковины на четырех палках. Хорошо в жару посидеть под навесом, на прохладной глиняной скамейке, зеленый чай попить из пиалы, только пока чай вскипятишь — сам сначала закипишь раз десять.

— Утром хорошо, днем хорошо,— говорит дедушка Юсуп,— вечером сильно плохо. Керосина нет, масла нет — свету нет.

— Ох, я бы дрожала от страха без света.

— Ты женщина,— важно сказал дедушка Юсуп,— тебе можно.

Каким салатом угостил меня дедушка Юсуп! Никогда я не ела такой салат и никогда больше не поем. Сначала он долго выбирал луковицу из кучи лука в углу хижины. И выбрал самую большую, круглую и белую. Взял дощечку и порезал на ней лук тонко, но так, чтобы кружки были целые, сложил его в миску и сильно посолил. А помидоры порезал в другой миске, накрыл ее дощечкой и поболтал. Соку набралось в миске, я аж слюнки сглотнула. А сверху посыпал просоленным луком. Вот и салат готов.

— Очень хороший помидор,— похвалил сам дедушка Юсуп,— только обязательно лепешки требует.

— Ничего, дедушка Юсуп, он и без лепешки вкуснячий.

— Хороший, но без лепешки в животе от него сильный шум делается.

Поели мы салат, а потом дедушка Юсуп стал выбирать мне арбуз. У него около хижины, под навесом, их лежало, наверно, целый десяток. Самые спелые.

— Каждое утро спелые снимать надо, а то нехороший будет, как вата.

Дедушка Юсуп поднял с земли огромный арбуз, весь гладкий, темно-зеленый, без полосок.

— Донесешь такой? — спросил дедушка Юсуп.

— Запросто, я и побольше носила. Спасибо вам большое.

В тот момент я была счастлива, что мне достался такой хороший большой арбуз. Но очень даже скоро я оценила его солидный вес. Ведь у меня не было с собой никакой сумки. Авосек мы тогда вообще и не знали. И я несла арбуз просто в руках, обняв его и прижав к животу. Очень скоро руки занемели не только от тяжести арбуза, но и от неудобного вытянутого положения. Пришлось сесть на обочину дороги, хотя прошла-то совсем ничего. Еще хижина дедушки Юсупа видна.

Я тут же вскочила и взяла арбуз, на этот раз обняв его одной рукой и прижав к боку. Так хоть руки по очереди будут отдыхать. Но и так нести арбуз оказалось не легче. Рука немела уже через несколько шагов. А сколько еще шагов надо сделать!

Я катала этот пудовый арбуз из-под мышки под мышку, как какой-нибудь жонглер катает мяч. Отдыхать садилась каждые пять шагов. Нет, не приду я домой никогда! Так и умру на дороге с арбузом. И я решила понести арбуз на голове. Как это ловко делают узбекские дети! Главное — найти в арбузе вмятинку, чтоб прочно сел на голову, и не катился, положу его вот этим местом, пупочком. Р-раз!

Я даже вначале понять ничего не могла. Я стояла, как оглушенная громом, потеряв способность что-либо соображать. Стояла и смотрела, как мой арбуз, мой прекрасный, такой чудесный, распрекрасный арбуз лопнул, как бомба, на мелкие кусочки, поднимая тучу пыли. Весь, весь на мелкие кусочки, даже не осталось хотя бы одного большого куска, чтобы отнести домой.

Какое горе! Какое ужасное горе! Хорошо, что никто не видит, как я рыдаю с завыванием, со всхлипами. Дедушка Юсуп, может быть, сказал бы: «Ты — женщина, тебе можно».

* * *

После того как мне вспомнилась история с арбузом, я почувствовала, что та девочка, которая несла и уронила арбуз и так при этом страдала, ну, то есть я — маленькая, тоже отделилась от меня сегодняшней, так же как и другие, прошла через меня и ожила не внутри меня, нет, а совершенно самостоятельно. Но можно ли ей поручить рассказ, понимала ли десятилетняя девочка все, что происходило вокруг нее? Поняла ли она трагедию своей матери, ее героизм? А сложный мир людских чувств и поступков? Безусловно, тогда все воспринималось ею по-другому, чем сейчас. Как каждый ребенок, она хотела видеть в жизни прежде всего радость, смех. Но и боль и беды ей, беззащитной и маленькой, тоже ведь казались больше, непоправимее...

...Как всегда, мама привязала лошадь к перилам крыльца.

— Эй, друзья, что там у вас имеется поесть? У меня одна минута.

Мы с Юркой никогда не знали точно, придет ли мама обедать или нет, хотя знали, что если она и придет, то всегда это будет одна минута. И у нас с ним к двенадцати часам всегда был готов обед. Думаете, это так просто? Знаете, сколько варится пшеница, а тем более если варить ее не на газе или электроплите, и даже не на примусе, и не на керосинке, а на костре, да еще топить сухим перекасти-полем, да к тому же еще в сорокапятиградусную жару. Потом мы сообразили, что пшеницу надо толочь, чтобы она скорее сварилась, и вместо костра у нас появилась маленькая узбекская печка. И узнали мы, как прекрасно горит коровий и конский навоз, но все это после, после, а сейчас...

Когда мама приезжала обедать, она всегда привязывала свою сумасшедшую лошадь к перилам крыльца. А мы с Юркой, как пули, сновали от костра в комнату и обратно, чтобы мама успела за свою минуту съесть пшеничный суп, сваренный Юркой, и выпить чай.

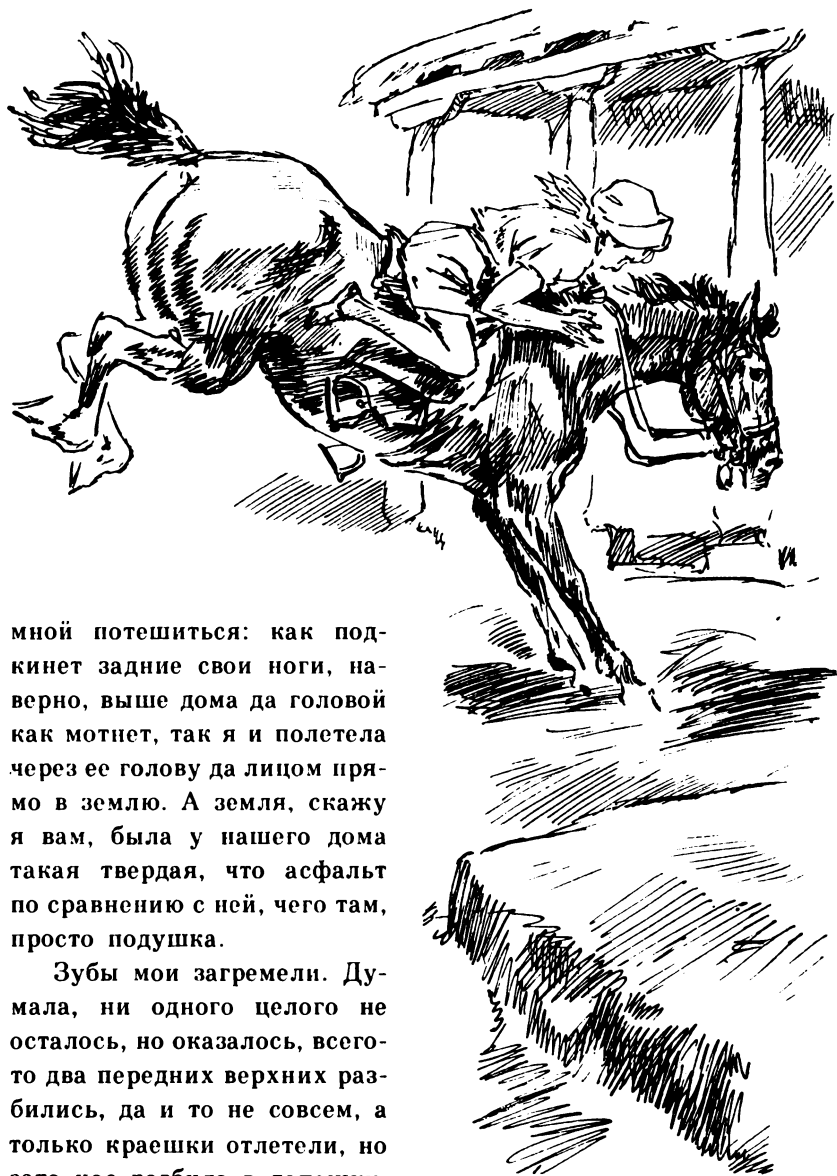
Суп каждый день был пшеничный: мы жили в зерновом совхозе, и пшеница — единственная еда, которую мы там видели, правда, ее было достаточно. И надо было иметь Юркину фантазию, чтобы умудриться разнообразить меню. Сегодня суп был заправлен салом и луком. Может быть, вы думаете, что мы имели горы сала и лука, чтобы каждый день заправлять пшеничный суп? Было-то у нас всего пол-луковицы, ну а сала с пол-ладони длиной и в бумажный лист толщиной. Вот сколько у нас было сала, и к тому же было оно желтое, прогорклое, а по краям свернутое в трубочку. Надо было посмотреть, как Юрка его порезал своим маленьким ножичком, а уж как оно пахло, когда Юрка бросал его на раскаленную сковородку, а потом еще добавил порезанный лук. Какая там прогорклость! А потом Юрка перевернул сковороду над кастрюлей со сваренной пшеницей, да еще плеснул на сковороду, и суп сразу стал жирный, душистый, аж слюнки потекли.

Юрка не доверял мне готовить. Я была только на подхвате: собирала топливо, разжигала костер. А сейчас я срочно накрывала на стол, и мне приходилось то и дело сновать мимо привязанной лошади, а я вам скажу, что не только я, но и Юрка, которому было уже четырнадцать лет, жутко боялся эту сумасшедшую лошадь, и не зря мы ее боялись, она так и норовила укусить за плечо. Нужно было быть здорово ловкой, чтобы проскочить мимо нее и не получить травмы. Этот свой страх мы с Юркой не скрывали друг от друга, но оба дружно скрывали от мамы. А мама и не догадывалась о вредных штучках, которые проделывала ее лошадь. Маму-то она не кусала. А мы с Юркой прекрасно знали подлинный ее характер, и тем более не понятно, какой бес нас попутал, что мы решили попробовать поездить на этой вредине.

— Давай, — говорит Юрка, — я подержу уздечку, а ты на перила, и будь здорова, а потом я ее отвяжу, и ты поскачешь.

Залезть на нее ничего не стоило, она была привязана почти вплотную к перилам, но как только Юрка отвязал эту проклятую скотину, она стала выделять такие номера, уж не знаю, как я не упала с нее в первую же секунду, а продержалась на ней минуты три, которые показались мне тремя часами. Эта бешеная зверюга стала подбрасывать ноги выше головы, и кружиться, и танцевать, и бить копытами, и дергаться всем телом, и мотать головой. Я пыталась крикнуть Юрке, чтоб он, черт, держал ее, но только прикусила язык, так она тряханула меня. Я здорово злилась на Юрку, но что он мог сделать! И так она меня трясла и мучила, а Юрка, уже не стесняясь, кричал «караул», а я-то, как только хотела что-нибудь крикнуть, так только язык прикусывала, так что уж и перестала пробовать. А мама выскочила на Юркин «караул» на крыльцо и видит, что выделяет ее прекрасная Лолита (эту зверюгу звали Лолитой — вот смех!) с ее единственным ребенком (Юрка-то был мамин племянник, ну, то есть мой двоюродный брат).

Мама выскочила на террасу и с перепугу хлыст не может найти, ну, а Лолита уже и так поняла, что не даст ей мама разгуляться, и тогда она, ну, то есть Лолита, решила под конец надо



мною потешиться: как подкинет задние свои ноги, наверно, выше дома да головой как мотнет, так я и полетела через ее голову да лицом прямо в землю. А земля, скажу я вам, была у нашего дома такая твердая, что асфальт по сравнению с ней, чего там, просто подушка.

Зубы мои загремели. Думала, ни одного целого не осталось, но оказалось, всего-то два передних верхних разбились, да и то не совсем, а только краешки отлетели, но зато нос разбила в лепешку, крови было — ужас! Глаза

мне совсем залепило кровью с пылью, ничего не вижу, руки ра-
стопырила, а мама кричит: «Глаза, глаза, что у тебя с глазами?
Юрка, давай марганцовку, в ящичке ищи, в том, под кроватью!»

Мама меня схватила, тормошит, а мне и так больно. «Ну что
с твоими глазами?»

Тут Юрка притащил марганцовку, я-то, конечно, не вижу,
а только слышу, как он топает да как они с мамой переруги-
ваются. Мама все торопит его, а он огрызается. Ну вот наконец
развели они свою марганцовку, схватили меня, будто я не живая
вовсе, а так, тюк какой-то, и давай на лицо да на глаза лить.
Лучше бы они не нашли ее вовсе, вот тут-то только боль и нача-
лась. Однако в конце концов выяснилось, что глаза целы и вижу
я ими нормально, два зуба — это
просто ерунда после такой паники,
нос заживет, но Лолите все же до-
сталось. На маму она ни-ни, только
на меня косит красным глазом, так
что я подумала, она мне еще при-
помнит эту порку.

Мы с Юркой не оставили идею
научиться ездить на лошади.

— Знаешь что? — сказала я
ему. — Для начала хорошо было бы
не только посмирнее лошадку, но
и пониже. Очень уж высоко от
земли.

— А что тебе земля? Ты к зем-
ле не стремись. Но вообще-то нет
ничего проще. Поймаем ишака.

— Только уж, чур, на этот раз
ты первый пробуешь.

— Ты что! Я парень, это не-
солидно. Ты на него сядешь, от-
ведешь подальше, а там я сяду.

Оставалось только поймать
ишака. Их много паслось, иша-



ков из кишлака, но попробуй поймай. Наконец какой-то наивный ишак разрешил накинуть себе на шею веревку. Как на них влезают? Он, конечно, не такой высокий, как лошадь, но все-таки я закинуть ногу ему на спину сама не могла, а Юрка не мог помочь мне, потому что он должен держать ишака.

И, скажу честно, хоть на ишака не так высоко лезть, как на лошадь, и он совсем не такой сумасшедший, как эта прекрасная Лолита, а все равно страшно. Ну что делать? Страшно не страшно — надо. Раз решила, так надо. А тут еще Юрка. «Эх, — говорит, — героиня, а еще на фронт к отцу собираешься. А если там придется на коне скакать, а если в танк залезть? Ты, — говорит, — заголосишь, девчонка: «Домой хочу!»

Ну, я разозлилась. «Ни в жизнь, — говорю, — этого не будет. Научусь сначала на ишаке, потом на лошади, вот увидишь, скоро даже и на Лолите буду ездить. А тогда и на танке не страшно». «Эх, вояка, давай хоть на ишаке!» — сказал Юрка.

Ну у меня всякий страх как рукой сняло. Как я вцепилась в спину ишака, как запрыгну и кричу: «Отпускай давай, отпускай, чего ты там!» А он говорит: «Я и так давно отпустил».

А ишак ни с места. Стоит себе, только хвостом обмахивается, как будто даже я не сижу на нем верхом. Не хочет понять, что мне за один день надо научиться на нем ездить. Как же я на фронт поеду, как на коне буду скакать или тем более на танке? Юрка уж стал его за веревку дергать, а он ни в какую, уперся в землю. «А ты его прищпорь пятками в бока да посильней, не бойся».

Ну, я что есть силы замолотила пятками по его бокам, как по барабану, и хоть бы что, только норовит хлестануть хвостом по моим ногам.

Ишак какой-то ленивый попался. Не хочет идти. А Юрка и говорит: «Забыл совсем, я же читал, они всегда так делают, сначала стоят, стоят, с места их не сдвинешь, а потом...»

Что бывает потом, я не дослушала, потому что ишак так рванул ни с того ни с сего, и не по дороге, а прямо по степи.



Ну ничего, еду на нем, не падаю. Выходит, уже научилась ездить. Вот бы еще научиться слезать с него и чтоб он слушался. А ишак трусит себе вроде и не так быстро, а Юрка позади остался, боюсь оглянуться, посмотреть, далеко ли он там. А ишак все бежит и бежит, прямиком по степи до канала добежал и бултых в воду, канал переплыл, на ту сторону вылез. Я в загривок его вцепилась — сижу ни жива ни мертва, а он как ни в чем не бывало дальше себе трусит. До каких же пор он бежать будет! А он, кажется, и не думает останавливаться. Так мне небось и придется весь свой век на нем ехать.

...И все-таки мы научились ездить на лошадях. И залезать, и слезать, и слушались они нас, и мы ездили на канал купать совхозных лошадей. Юрка гарцевал как настоящий джигит и всегда норовил мимо девчонок проехать, похвастаться, тоже мне... Но это все потом, а пока мы ничего не умели и приспособивались к этой, совсем новой для нас жизни с трудом. Сейчас вспоминаешь и смеешься. Но тогда нам было не до смеха.

Второе письмо Юли на фронт к отцу

Дорогой папуля!

Шлю тебе боевой привет из нашего тыла Кок-Арала. Сообщаю тебе новости, что мы с Юрой зря время не теряем. Я уже научилась ездить на ишаке и почти что на лошади. Так что мне нипочем будет и на танке. Кроме того, мы помогаем маме, всё делаем дома, чтобы мама могла работать на трудовом фронте. Скажу тебе по секрету, что лошадь у нее Лолита, это настоящая Чертыта или можно Кусыта, а никакая не Лолита.

Остаюсь твоя верная до гроба дочь Ю л и я.

* * *

Однажды Юрка прибежал страшно возбужденный и с ходу кричит:

— Давай хватай две наволочки, и двигаем!

— Зачем наволочки-то?

— Быстрее, тебе говорят, а то зачем да почему! Вон умные люди уже вагон рыбы наловили, а мы с тобой ушами хлопаем!

Я ничего не поняла. При чем тут рыба и наволочки? Но расспрашивать не стала, чтобы и дальше ушами не хлопать. Двигать так двигать!

Юрка припустил так, что я за ним еле-еле попевала. Прибежали к нашей речке. Весной в ней воды было много, а сейчас она высохла вся почти. А рыбе-то и некуда деться. Народу там видимо-невидимо. Наверно, все ребята собрались — и совхозные, и приютские, и из кишлака. Но и взрослые тоже были, хотя и не так много, как ребят. Вот, думаю, небось они ушами не хлопали

Юрка недолго думая скинул рубашку, брюки, сандалии — и в воду.

— Давай сюда наволочку и стой на месте, не отходи. Будешь сторожить улов.

Юрка схватил наволочку, двумя руками взялся за углы и рраз об воду, а она, как огромный резиновый мяч, надулась и в воду идти не хочет.

— Что ты там за наволочку мне подсунула, резиновую, что ли?

Ну тут со всех сторон и посыпалось:

— На ней лучше плавать...

— Нет, на ней лучше летать.

— Разве не видите, это же воздушный шар...

— Дирижабль.

Юрке это надоело. Он с силой хлопнул ладонью по наволочке, и получился такой громкий выстрел, что многие присели от неожиданности в воду, а остряки снова стали подавать голоса:

— Спасайся кто может, немец идет!

Юрка, согнувшись так, что его острый нос, как килем, взрезал мутную глинистую воду, шел вдоль берега и тащил в воде широко разинутую пасть наволочки.

Потом он пошел обратно, ближе к илистому берегу, а я стояла на берегу и дрожала от нетерпения.

— Ну что, есть что-нибудь, Юрк, есть?

— Молчи, сглазишь.

— Ну хоть маленькая попалась?

— Молчи, тебе говорят!

А за какие грехи я должна мучиться? У меня тоже есть наволочка. Я мигом скинула с себя платье и полезла в воду, и буквально не успела я раскрыть в воде наволочку, как почувствовала удары о коленку через полотно наволочки чего-то верткого и тяжелого.

— Есть, есть! — заорала я во все горло. — Я поймала!

— Тихе ты, — зашикали на меня рыболовы, — всю рыбу перепугаешь.

Я трясущимися руками подняла наволочку и заглянула в нее.

В коричневой воде извивался сом. Это была первая пойманная мною в жизни рыба, и не какой-нибудь пескарь или жалкий крохотный карасик, а увесистый, толщиной в руку и длиной от кончиков пальцев до локтя, сом.

— Вот это да, правда, Юрка, вот это рыба так рыба, правда, Юрка?

В упоении своей быстрой победы я не замечала, как помрачнели Юркины глаза, как дергался нос и сошлись над переносицей брови.

— Ну не кричи, ведь сказано было, сиди и стереги.

— Ну уж, нет уж, нетушки, я тоже, я хочу еще ловить.

Мы вывалили сома в ямку, затопленную водой, и бегом ринулись с наволочками продолжать лов. Чем только здесь не ловили рыбу: мешками, рубашками, майками. В основном попадались жирные скользкие сомы, но шла и мелкая рыбешка.

Рыболовы вели азартный разговор, хвастались, сколько рыбы поймали вчера, позавчера... Оказывается, лов идет уже несколько дней, с тех пор, как в пересыхающей реке выступила отмель и отрезала от главного русла вот этот самый затон.

А мы-то с Юркой действительно ушами прохлопали и не знали и не ведали, что умные люди рыбу ловят.

Азарт поддерживался удачей. Юрка поймал огромного сома, раза в три больше моего. На берегу разводили костры из кизяка — это такие сухие кирпичики из коровьего и конского навоза, которые прекрасно горят. Сооружили треноги, варили в котелках уху.

У нас не было с собой ни топлива, ни котелка, но нам тоже не терпелось попробовать свою добычу. Кто-то пожертвовал нам несколько кизяков, кто-то дал спички, и мы зажарили своего сома — прямо так с кишками, без соли, в горящем навозе, и до чего же он был вкусный, этот сом.

В то время как мы с Юркой хватали горячие куски, краем глаза я заметила стоявшую возле девочку и вдруг вспомнила, что она также молча все время тут стояла, пока мы ловили рыбу.

Девочка была примерно моих лет, только чудная какая-то. Худущая такая, что я и не видела таких, а волосы рыжие-рыжие и веснушки рыжие.

Я перестала жевать и стала смотреть на девочку, мне хотелось и ее угостить нашей замечательной рыбой, но я стеснялась Юрки. Но Юрка и сам заметил ее и позвал к нашему костерику.

— Иди сюда, что стоишь?

— А она из приютских, мы с ними не водимся, у них воши! — Это высказался парень, тоже так лет десяти. Он-то уж, сразу видно, не приютский и к тому же нахал. Трусы на нем шелковые красные, а сам толстый крепыш, загорелый — аж черный весь, только зубы белые, как сахар, а остренькие, как у мыши, так, кажется, и укусят.

— Не пускайте ее сюда, она нам вошей напустит, — продолжал острозубый парень, а девочка хоть бы что, продолжала стоять молча, как будто это и не про нее. Я бы уж давно дала ему кулаком по его мышинным зубам или бы ущипнула с вывертом его как маслом намазанный живот. А девочка эта хоть бы что, так и стоит молча.

Юрка, я вижу, тоже стал заводиться, но пока что молчит, пока что и ухом не ведет, и снова говорит девочке, как будто и не слышит того красноштанного, белозубого мальчишку.

— Ну давай топай, топай скорей, а то съедим рыбу, — снова подозвал ее Юрка.

Девочка подошла, но не села, а так и стояла около нас. Юрка отломил кусок рыбы и протянул ей.

— Ты чего ж не ловила?

— А она приютская, ей нечем, у нее под платьем портков нет, — снова вмешался мальчишка, хотя его никто не спрашивал.

Юрка взбеленился:

— А тебя спрашивают? Смотри, как бы твои портки удержались на месте, а то спущу и голым в Африку пушу.

На следующий день мы сидели на террасе и ужинали. Вдруг Юрка сказал:

— Вон твоя подружка заявила. И как только она узнала, где мы живем? Выследила, наверное.

— Замолчи, Юрка, не говори глупости, что это за «выследила». Пригласим лучше девочку к ужину, — сказала мама.

— Она не пойдет, — твердо сказала я.

— Ты всегда все знаешь наперед. Почему это она не пойдет? Как ее звать?.. Девочка, девочка! Подойди сюда.

Но она ни с места. Как будто даже не слышит. Вроде и не смотрит в нашу сторону. Но хотите, землю съем, если она не видит и не слышит каждый пустяк, который творится на нашей террасе.

Я схватила прямо рукой из кастрюли горсть плотной пшеничной каши и рванулась к ней под мамины причитания:

— Дикарка, да что это, собака, что ли?

Я подошла к девочке с комком каши в кулаке и сказала:

— Привет. Я тебя увидела. Вот хочешь? — и разжала кулак, протянув ей на ладони кусок каши, который принял форму трехгорбого зверя.

Она взяла и стала откусывать по зернышку.

— Вкусно, у нас дают жидкую, а здесь зернышки, очень вкусные. У нас была одна нянечка, мы ее дразнили «Крыса», а она оказалась потом доброй, нам молочка приносила. Так было вкусно. А я вчера шла за вами, только чтобы ты не видела и твой дядька.

— Это брат, он еще небольшой. Ему четырнадцать лет. Меня зовут Юля, а тебя?

— Юля, я не слышала такое имя, а как фамилия?

— Зачем тебе фамилия, зови Юля.

— Ладно. А меня — Вера.

— А у меня голубь есть, настоящий, живой. У него крыло подбито. Когда я его вылечу, отпущу на свободу. Его Коля звать.

— У нас тоже был Коля. В младшей группе только. Он

умер. Потому что объелся. Живот схватило. Так и умер. Его закопали в землю, только сначала в ящик положили.

— Это гроб называется, а не ящик. А знаешь, как бывает? Я вот читала одну книжку, ее написал один писатель, фамилия его просто ПО, так вот там, знаешь, одну девушку заколотили в гроб, а она живая была, просто в сон впала в такой, называется летаргический, что даже и не дышит.

— Про это нам не читали. Нам другую читали. Вот та, Крыса, которая молока нам приносила, она читала нам книжку только не про это, а про одного мальчика, он не слушался, и его съели волки.

— Это упрямый Фома, что ли?

— Точно, так его фамилия.

— Да и совсем это не фамилия, а имя. И потом его совсем не волки съели, а крокодилы.

— Нет, волки.

— Нет, крокодилы.

— Точно. Это самое. Только в нашей книжке были волки.

— А знаешь, можно найти такое волшебное кольцо, его потрешь — и любое желание исполнится. Ты бы что загадала? Я бы круглое мороженое, знаешь, в вафлях с двух сторон. Ну и конечно, еще чтобы папа с фронта вернулся. А ты?

— Я не знаю.

— А ты придешь завтра опять?

— Ага. Посплю только и приду. Тебя тетка кличет.

— Это мама зовет. Ну пока. Только, чур, пораньше приходи.

Хоп?

— Ага. Хоп!

Утром, еще совсем рано, только мама ушла в совхозную конюшню за своей Лолитой, я увидела Веру. Я подала ей знак рукой, но она и шага не сделала. Я подошла к ней сама.

— Ты чего не подходишь? Я тебя звала.

— Боюсь, тетенька заругается.

— И ничего не заругается, это моя мама.

— А она ругалась вчера, что ты мне кашу взяла, я слышала.

— Эх ты, да она совсем не за кашу! Пойдешь со мной за молоком на ферму?

— Ага.

Каждый день мы получали по ордеру пол-литра снятого молока — обрата. Но за ним нужно было ходить на ферму по голой степи три-четыре версты. И это была моя обязанность. Не было противнее и скучнее дела на свете. До чего нудно тащиться одной по жаре, а вот сегодня — другое дело, сегодня мы вдвоем, вдвоем с подружкой. Болтаем без умолку. Болтаю-то я одна, а Вера слушает, но с какой страстью она слушает и как верит мне, хоть для нее мои рассказы о Москве все равно что волшебные сказки. Она ведь вообще ни в каком городе не была.

— И вот, знаешь, в этом Большом театре одна только сцена такая, что там может весь наш совхоз поместиться, поэтому он и называется «Большой». Так вот этот самый Руслан — у него злой волшебник Черная Борода похитил невесту, Людмила ее звать, и он ее везде ищет, только куда надо, не догадывается заехать. Встречает он голову, понимаешь, голова такая, в тыщу раз больше нашей с тобой, нет, не в тыщу, а в миллион, в миллиард, в триллион, и живет она сама по себе, без рук, без ног, но зато как дунет, Руслан вместе с конем так и катится. А когда наконец Руслан пришел в замок Черной Бороды, там волшебницы всякие летают прямо по воздуху...

Я даже не успела рассказать «Руслана и Людмилу», как мы уже дошли до фермы.

Молоко еще не кончили перегонять через сепаратор. Я нарочно завела в сепараторную Веру. Втайне я надеялась, что работницы фермы, тронутые изможденным Вериним видом, дадут ей выпить кружку обрата. Но на нас никто не обратил внимания.

Деловито отметив в ордере, мне налили пол-литровую кружку обрата в мой бидончик и продолжали свои серьезные взрослые разговоры.

Мы пошли обратно. Мне хотелось дать Вере попить обрата, но очень уж мало было его в бидончике.

— На вот, глотни, только, чур, два раза, не больше, а то Юрка сразу заметит.

Мы остановились, и Вера, приподняв бидончик, сделала два маленьких вежливых глотка и вернула мне бидончик обратно.

Когда мы подошли к дому, я сразу поняла, что у Юрки опять какая-то «гениальная идея». И точно.

— Ну, девчата, что я вам скажу! Да только ведь вам, девчонкам, ничего говорить нельзя, сразу по секрету всему свету растрезвоните.

— Ну нет, нет, говори Юрка, вот честное слово — никому ни словечка, ну чтоб мне лопнуть, ну хочешь, поклянемся — честное пионерское под салютом всех вождей!

— Знаю я ваше честное пионерское! Вы не так клянетесь, землю съешьте, тогда скажу.

Вера переводила взгляд с Юрки на меня, но ничего не спрашивала.

— Ну раз так, и землю можем съесть, только ее здесь не отколупаешь.

Юрка поднял комок глины, твердой как камень, и протянул мне:

— На вот отгрызи и, чур, глотай, и она тоже пускай.

Мы с Верой откусили по куску глины, разжевали и честно проглотили, и тогда Юрка, страшно вытаращив глаза, прошипел:

— Онжом тзелаз ов ртунв яарас и тиодоп хыннавотсера зок.

Вера тоже вытаращила глаза еще сильнее, чем Юрка, и смотрела прямо ему в рот, и ничегошеньки не понимала. Я-то, конечно, сразу поняла. Юрка сказал всего-навсего вот что: «Можно залезть во внутрь сарая и подоить арестованных коз». Понять-то я поняла, а молчала потому, что не знала, что ответить. Хорошенькое дело предлагает Юрка!

— Ну вы что, — говорит Юрка, — не хотите молока попить по горлышко, да еще с головкой!

Мы промолчали. Кто это, интересно, не захочет!

— Да не какого-то там несчастного обрата, а настоящего

молока, парного! Так вот, слушать сюда! Встать на изготовку.

Вера, не знакомая с такими словечками, робела, но я взяла ее за руку и крепко держала.

— Вот видите тот сарай. Там сидят под арестом одиноличные козы, которые забрели в совхозный сад. Отдаст их сторож только вечером, когда хозяйева этих преступниц штраф принесут. Усекаете? А бедные козы должны целый день мучиться, недоенные! Да нам в ножки должны будут поклониться хозяйки, если мы подоим их коз.

— А сторож? — осторожно спросила Вера.

— А что сторож! Думаешь, есть ему время с козами сидеть? Он небось до вечера и не придет.

Мы сбегали домой и взяли котелок.

— Ну вот что, девочки. Замок мы не откроем, значит, единственная возможность проникнуть внутрь через то окошко наверху. Вы полезете, а я буду стоять на шухере. Хоп? Подоить сумеете?

Мы подошли к задней стенке сарая. Там было полным-полно колючек и репейников, не так-то легко было сквозь них продраться. Окошко было довольно высоко, но долговязый Юрка схватил Веру и — раз! — так ловко просунул ее ногами в окошко, что я и глазом моргнуть не успела.

— Ну, теперь прыгай туда. Готово? Теперь давай тебя, а потом кину вам туда котелок.

Мы с Верой очутились в полутемном сарае. При нашем неожиданном появлении две козы беспокойно вскочили на ноги и стали блеять.

— Ты когда-нибудь доила?

— Не-е.

И я нет. Как ты думаешь, ей будет больно?

Не знаю.

Давай ты дои, а я буду ее гладить.

Вера послушно взяла котелок и присела около козы, а я взяла козу за рога, чтоб она не дергалась, и стала чесать ей за ухом. Зазвенели первые струйки молока. Коза с любопытством повернула голову, но, кажется, не выражала недовольства.



— Ну что, получается?

— Вроде.

Потом мы с Верой подоили таким же манером вторую козу. А потом окликнули потихоньку Юрку. Голос его совсем охрип, видно, он здорово там волновался. А как же нам обратно, да с полным котелком молока.

Мы с Верой шушукались, кто первый полезет, а Юрка в нетерпении кипел за стеной сарая.

— Ну что вы там, девочки, хотите, чтоб сторож вас вместе с козами сдал! Давайте сюда сначала котелок.

Я взяла котелок двумя руками. Он был теплый, почти горячий. Тут меня осенило, и я протянула Вере котелок. Она поняла мой знак глазами, но решительно замотала головой. Я толкнула котелок к самому ее рту, и на Верино платье плеснуло густое,

пенящееся молоко. Вера тихо ойкнула, но после этого взяла котелок и сделала маленький глоток.

— Еще, еще!

— Эй, вы там, девки, скоро, что ли?

В окошке показалась Юркина пятерня.

— Давай ты лезь, ты легкая.

Я подняла легкую Веру за ноги, а она вытянула котелок с молоком к торчащей в окошке Юркиной руке, но я не удержала Веру, качнула и почувствовала, как теплое густое молоко заливает мне глаза.

Мы обе враз ойкнули, а Юрка сразу все понял.

— Небось молоко разлили, эх вы, недоростки!

Едва разлепив глаза и губы, я зашептала Вере:

— Вот видишь, лучше бы ты выпила, он очень полный был.

За стеной снова зашебаршился Юрка.

— Эй, девки, теперь хоть не пролейте, крепче завязывайте.

От окошка по стене, как змея, полез Юркин витой кожаный пояс. Мы привязали конец его к ручке котелка, и котелок пополз по стене. Потом у окошка он чуть наклонился, и мы опять дружно сказали «ой!». Но Юрка начальствующе ободрил:

— Не бойтесь, у меня проливается только в рот.

Мы с Верой испуганно толкнули друг друга. Таким же манером, как котелок, то есть при помощи Юркиного пояса, мы вылезли и сами. Теперь уже страх остался позади, и была бурная радость от такого неожиданного, от такого сверхъестественного приобретения.

— Ну что, девки, работает у меня голова?

Теперь, когда сторож уже не мог нас застукать на месте, во мне снова начала шевелиться совесть.

— А что, если это все-таки воровство?

— Балда ты стоеросовая, это уж точно! — не задумываясь, выпалил Юрка, а Вера только переводила глаза с меня на Юрку.

Своим авторитетом Юрка на время подавил наши сомнения. Но они снова появились, когда мы стали делить молоко. Нужно же было оставить законную долю маме, а как ей рассказать? Юрка говорит:

— Не надо маме говорить.

— Но ты же говорил, что это не воровство. Значит, маме можно рассказать.

— Ну, пока взрослым чего-нибудь втолкуешь, молоко это уже испарится, — резонно заметил Юрка.

И советом трех мы решили маме ничего не говорить, но мамину долю оставить и вылить ее в мамин суп. Хорошо, сегодня как раз у нас молочный суп из обрат.

Сегодня Вера в первый раз зашла к нам. Ей очень понравился наш голубь Коля. И он почему-то сразу ей доверился. Она взяла его в руки и посадила к себе на плечо, а он начал так нежно перебирать у нее за ухом волосы.

— Знаете что? Давайте завтра учить Колю летать. Приходи, Вера, пораньше. Хоп? Завтра объявляем День планериста.

Тут мы услышали топот маминой Лолиты, и Веру ни за что нельзя было удержать, хотя мы с Юркой уговаривали ее остаться. Тихая Вера бесшумно выскользнула за дверь и тут же исчезла.

— Где вы там, ребята? Скорее сюда. Посмотрите, кто тут у меня! — кричала мама.

Мы выскочили на террасу, ожидая какое-то чудо, но чуда не было.

Перед нашей террасой гарцевала сумасшедшая Лолита, а на ней как будто пританцовывала в седле мама в своей обычной белой кепке, полотняном кителе и брюках галифе. Но что это! Что за черная голова торчит из кармана маминых брюк? И мама вынимает из кармана котенка. Черный — ни единого белого волоска, а злющий какой, так и рвется всех перекусать, начиная от Лолиты, настоящий черт.

— Вот это да! — ахнули мы с Юркой. — Как ты его довезла? Ведь это же черт!

— Демон! Я его назвала Демоном. Он в степи дорогу Лолите перебежал, чуть под копыта ее не попал. И что он там делал в степи! На полевков, наверно, охотился.

Мы не могли налюбоваться на Демона. Как он прыгал! Наверно, на два метра, а как выгибал спину и терся о перила

террасы. Демон, Демон! У нас будет Демон! А как же Коля!

Мы не подумали о нашем беззащитном раненом голубе. Ведь Демон слопаёт его в один миг!

— Не думаю, что Демон обидит Колю. На всякий случай будьте наготове,— сказала мама.

— Он хочет пить, дайте ему пить.

Мы принесли Демона в комнату и поставили в углу, около Колиного блюдечка с водой. И что бы вы подумали! Наш Коля, наш беззащитный раненый застенчивый голубь Коля ринулся, распутив по полу крылья, на Демона и, подскочив к нему, начал клевать его в голову, а Демон, злой и коварный хищник, втянул голову в плечи, и ни-ни... Вот это здорово! Нам пришлось спасти Демона от тихого Коли.

— Мама, а почему ты знала, что Демон не обидит Колю? Ты что, знала это наперед?

— Да, потому что Коля хозяин дома, а Демон гость.

— И животные это понимают?

— Еще как понимают! А вы только что в этом убедились.

После первого возмущения вторжением чужака Коля, прихрамывая, отошел в сторонку, а Демон тихо, вежливо приблизился к блюдечку и стал пить воду, всем своим видом показывая, что он ценит гостеприимство Коли.

— Какой ты стал шелковый, Демон, Коля тебя в минуту вышколил.

— Ну, а вы, ребята, вы вежливы с хозяевами?

— С какими еще хозяевами?

— А вам даже не приходило в голову, что мы-то с вами ведь тоже здесь в гостях.

— Почему это? Что они, купили, что ли, землю?

— Они здесь жили всегда, а мы приехали. У нас беда, но все-таки мы здесь гости и должны относиться с уважением к хозяевам этих мест и не обижаться по пустякам. Иногда и у зверей не грех поучиться. Тогда и к нам... Смотрите, смотрите!

Коля без всякого страха подошел к Демону, и голубь с кош-

кой стали пить из одного блюдечка. Было такое впечатление, что Демону уже не хотелось пить, он пил лениво, ему просто хотелось показать Коле, что он оценил его доверие.

— Забавные они... — сказала мама так, как будто думала совсем о другом. — А я ведь и не думала его у нас оставлять, привезла в поселок, чтоб он в степи от жажды не погиб.

— Ой, мамочка, оставим...

— Ведь его кормить надо.

— Да ну, сколько он съест!

— Молока у нас самих кружка в день.

— Да мы ему чуточку в кашу... Он мышей будет ловить...

— И вот что, ребята, — сказала нам мама, — я вас должна оставить... на неделю, в крайнем случае — дней на десять. В город мне надо.

— А я так и знал, — выпалил Юрка.

— Знал, а что мне не сказал?

— Много будешь знать, скоро состаришься...

Мы убеждали маму, чтоб она даже и не беспокоилась о нас, подумаешь какое дело — десять дней, да мы же все равно весь день одни, и готовим сами, и всё вообще. Ну подумаешь, и ночью одни поспим, какое дело!

Наутро мама уехала на совхозной машине.

А к нам пришла Вера, и мы показывали ей Демона и учили летать Колю, а потом сажали Колю к Демону на спину, и Демон терпел, только дергал усами почему-то. Мы объяснили Вере, что он гость у Коли, а Коля хозяин. И даже если Демон останется у нас навсегда и уже будет не гость, все равно Коля будет главный. И Демон будет его слушаться, потому что Коля здесь жил раньше.

А потом мы вынесли Колю на улицу и учили летать. Хватит тебе, лентяй, засиделся. Ведь ты здоровый совсем. Нечего зря время терять, надо летать учиться. Сначала мы его просто бросили с ладоней, невысоко совсем. Но так летать не очень-то научишься. Надо, чтоб он мог спланировать, надо с высоты его бросить. Юрка залез на крышу сарая. Что ему стоит с его длинными

ногами! Вот он стоит на крыше, Колю в руках держит, а бросить боится: вдруг не полетит, упадет и разобьется.

— Бросай, бросай, Юрка. Мы его поймаем, если он не полетит.

Только полетел он, еще как полетел Коля! Круг сделал и сел к Вере на плечо. Крыльями машет и в самое ухо что-то Вере курлычет.

— Чур, не честно так, Вера. У вас секреты!

А Вера смеется так весело. Наверно, ей приятно, что Коля к ней на плечо сел.

Мы с Юркой даже переглянулись. Ведь мы еще ни разу не слышали, чтоб Вера смеялась.

А потом Юрка снова взял Колю в руки, как размахнулся и бросил Колю высоко, высоко. Коля так и взмахнул в самое небо.

— Лети, лети, Коля, только нас не забывай!

Хороший был день!

Потом мы с Верой ходили за молоком, а Юрка варил пшеничную кашу, а потом мы все вместе обедали, и Демон тоже. А Вера принесла с собой к нам свой обед — квадрат мамалыги, только бумажки у нее не было, она так прямо и несла. Ох и весело мы провели время и о маме даже не скучали! Некогда было. Такой был день — веселый, хороший. Мы даже заснуть не могли долго. Вспоминали, как Колю летать научили. Как он в небо взлетел. Какая радость была, даже гордость какая-то, как будто это мы сами летать научились.

— А Вера! Как она смеялась, какое у нее лицо было. Ты заметил, совсем другая стала, прямо красивая, правда? И обедать втроем было весело, правда? А прилетит ли к нам Коля? Неужели забудет нас? А Демон без него скучать будет.

А тут вдруг Юрка говорит:

— А знаешь, зачем тетя Оля (это, значит, мама) в город поехала? На нее донос написали, что она не так работает, как надо. И знаешь, кто все затеял? Папаша того, ну в шелковых трусах, помнишь? Который Веру дразнил. Так вот, оказывается, это был сын директора совхоза. Его Насыр звать. Я все узнал.

И папаша, видно, почище субчик, чем сынок. Интересно, папаша тоже носит шелковые трусы?

— Так что же ты, Юрка? Что же ты молчишь? Вот гад Насыр, фашист проклятый, это, наверно, он отца своего подговорил, ну я ему дам!

— Ничего и не он. Станет директор слушать какого-то там сопливого пацана. Тоже мне придумаешь! Тебе только сказки сочинять.

— Нет, нет, это Насыр, это Насыр, я точно знаю, это он все, он такой противный. Ты еще не знаешь, да ты не знаешь, что он может сделать.

Как мне объяснить Юрке, как сказать ему, чтоб поверил, что Насыр — он ведь страшный, у него зубы крысиные, он может горло перегрызть, он может кровь выпить.

Вдруг солнце ожгло глаза. Это, оказывается, лампочка. Это Юрка свет зажег. Протягивает мне палку, а она у него в руках извивается почему-то. Это оказался градусник.

— Юлька, температуру! — кричит Юрка.

— Какая температура? Температура как на Северном полюсе — сто градусов. Как холодно. Холодно. Накрой. Накрой меня, Юрка, а то я в сосульку превращусь. Накрой еще, еще. Сядь мне на ноги, а то они выкручиваются сами по себе, я их удержать не могу. Опять Насыр, опять фашист проклятый, голову мне сверлит. Ой как больно! А он еще смеется!

Почему-то всегда бывает так, что за хорошим идет плохое. Так было и у нас. Мы с Юркой заболели. И сразу вместе. Наверно, тогда в заводи наглотались гнилой воды. Тут и гадать было нечего. Мы оба заболели малярией. Только я еще с вечера, а Юрка на следующее утро. На улице жара стоит, не знаю уж, может, сто градусов, а мне холодно так, что зуб на зуб не попадает, ноги, руки выворачивает, дергаются, как будто сами по себе. Юрка на меня все одеяла свалил и пальто из чемодана вынул и даже ковер с пола сверху водрузил, а все равно как будто ничего и нет — холод не проходит. Потом стало про-

ходить, но тут уж я ничего не помню. Помню только, что пить хотелось, все внутри засохло, и все время снилось, как вода из колонки льется, льется, льется. Эх, попить бы ее! Губы рас-трескались, вон даже кровь на подушке, а в горле как будто наждачной бумагой все время трут. Пить! Пить! Выпью ведро, выпью целое море, буду пить, пока не лопну. Можете дать мне апельсиновую или лимонную, но только холодненькую, можете даже без сиропа, простую, которую я до войны всегда презирала, а можете просто из колонки, только побольше.

Больше, кроме воды, ничего не помню, а оказывается, три дня прошло, я и не заметила, так бы и не знала, сколько прошло, да Юрка встал, это он потом мне рассказал, на террасу вышел, хотел за водой сходить, а то мы так и не пили, есть-то не хоте-лось совсем, только пить. Вышел он на террасу с бидончиком, смотрит — Вера стоит. Так он подумал, что это ему опять сон снится.

— Ты что здесь стоишь?

— А вы разве дома? Мне тетенька сказала, все уехали.

Я и смотрю — все заперто.

— А чего стоишь тогда, если уехали?

— Так, может, приедете.

— Дуреха ты, ей-богу. Нет чтобы подойти, дверь подергать.

А что, если б мы тут померли от жажды?

— Ой!

— Вот тебе и «ой». На́ вот, иди за водой.

И вот наконец вода. Я пью, пью, и мне кажется, что я лежу у колонки, кто-то мне голову держит и прямо в рот качает воду. Но это Вера с Юркой мне голову держат, а воду в стакане давали. А мне казалось, что я целое море выпила.

А потом слышу, вроде бы и во сне и вроде нет, как Юрка с Ве-рой разговаривают. «Сходи, — говорит, — еще за водой, про запас, в кастрюлю перельем». А потом вроде бы он сам с собой разговаривает. Это так и было. Он на Веру ругался, что она долго с водой не шла. Только зря. Вера не шла долго, зато пришла с доктором. И где только она его выкопала. Из-под земли, наверно. Это потом я все узнала, а тогда ничего не сообщала.

Ну а как меня доктор смотрел, — это я помню. И язык заставлял показывать, и трубкой слушал, и стучал, и ноги сгибал, и живот щупал — что только со мной не делал! А потом вдруг все пропали. Никого нет. И сколько так прошло времени, не знаю. А потом глаза открываю, смотрю — около меня, прямо на полу, сидит совсем чужая женщина, узбечка, паранджа на ней, только откинута назад, за голову. Сидит и прямо на меня так и смотрит. Откуда-то у нее в руках пиала появилась, как у фокусника, и она мне протягивает, а другой рукой мне голову приподнимает, чтоб удобнее пить было. Я попробовала —



ох и здорово! Как мятные конфеты в холодной воде разведенные. Сразу мне хорошо стало. Она что-то заговорила, заговорила, а я ни слова не понимаю, потом по-русски говорила и много раз повторяла: «Доктор, доктор велел!» — и протягивает мне лепешку. Видно, что вкусная лепешка, пышная, румяная, только не могу я ее есть, сил совсем нет жевать. А она как будто сразу поняла. Смотрю, берет эту лепешку и крошит ее мелкими кусочками в пиалу, потом туда из глиняной банки простоквашу наливает и дает мне ложкой. Это другое дело, тут и труда не надо — глотай себе. Простокваша холодная, как со льда, до чего приятно!

А потом у меня в голове все перепуталось. Закрывает глаза,

снова открыла — тети Таджихон нет (я почему-то уже знала, что ее зовут тетя Таджихон), а потом открою глаза, она снова есть. И так она то исчезала, то появлялась до тех пор, пока я не услышала над своей головой Юркин голос как гром громóвый:

— Телеграмма от ма-м-м-ы.

— Уже приезжает?

— Уже не приезжает. Как раз задерживается на три дня.

Просит нас быть молодцами. Целует. Ты знаешь, сколько времени прошло? Сколько ты здесь разлеживалась?

Я молча смотрю на Юрку и ничего не понимаю. Мне-то казалось, что один день прошел.

— А прошло уже ровно пятнадцать дней, как уехала тетя Оля, — говорит Юрка. — Значит, четырнадцать, как мы заболели. Я уже давно выздоровел, а ты развалилась. А Верка твоя — молодец! Вот тихоня. А когда надо, так разошлась. Это ведь она доктора нашла, а доктор прислал тетю Таджихон, а тетя Таджихон всех нас спасла — и меня, и тебя, и Демона. Нет, это я всех нас спас. Если б я тогда не вышел на террасу и Вера меня не увидела бы, то она не пошла бы за доктором, а доктор не прислал бы тетю Таджихон. Ну в общем — Дом, Который Построил Джек! А тетя Таджихон? Правда, какая она хорошая! А знаешь, почему она с нами возится? Она на этого самого доктора Юзефа как на святого молится. Он у нее вылечил много детей, если бы не он, то они бы тоже в «ящик сыграли», если бы не он, то и мы бы в «ящик сыграли». Так что видишь, как в жизни все взаимосвязано.

— Ты, Юрка, трепло самое настоящее. А откуда ты все это узнал? Ну, про тетю Таджихон, например?

— Да она по-нашему, по-русски, ни бум-бум, ну, то есть ни бельмеса, а тем не менее любит мне душу изливать, на два русских слова десять узбекских. Знаешь, я уже ее понимаю. По крайней мере, насчет чего поесть я отлично понимаю.

— А что это у нее такое вкусное мятное?

— Здорово, да! Это она сама делает настойку из мятной травы. А холодная, как из погребца. Не подумаешь, что по такому пеклу шла, точно? Все-таки она молодец, тетя Таджихон, верно?

— Ага.

— А тетя Оля придет, — сказал Юрка, — вот удивится, что мы целых три дня ни капли не пили!

Мне захотелось встать, но только я села на кровати, как комната завертелась, пол стал стеной, а стенка полом.

— Юрка, Юрка, дай-ка мне руку, что-то комната заходила и в голове тошнит.

— Давай, давай, — подбадривал меня Юрка. — А знаешь, как раненые бойцы после операции? У них небось не то что комната вертится, а весь свет вертится, самое вредное — залежиться после болезни. Ой, Юлька! — вдруг заорал Юрка. — Что-то у тебя с ногами сделалось?

— А что?

— Ой, да как будто тебе другие ноги пришили, спички какие-то, а не ноги. Ну, Юлька, я даже и не видал никогда такого, давай, пожалуй, ложись снова, а я тебя откармливать буду. А то тетя Оля совсем... Не понравятся ей твои ноги... Да, знаешь, и лицо тоже... желтая ты какая-то.

— А ты тоже, Юрка, желтый, я только сейчас заметила, и худой тоже какой-то, как будто другой стал, глаза у тебя выросли.

— И у тебя Юлька. Как в той сказке про огниво, помнишь, у собаки глаза, как тарелки.

— Давай, Юрка, вместе откармливаться, а то чует мое сердце, что и ты тоже маме не понравишься, мы оба маме не понравимся. Она худых не любит.

Все у нас постепенно входило в норму, как вдруг новая напасть — пропал Демон. Пропал, как провалился сквозь землю. Целый день его нет. Молоко даже в блюдечке нетронутое. Юрка уж бегал везде, и к соседям забегал, спрашивал. И я встала, за стенку держалась. Демон, Демон! Кис, кис! Нет его.

— Может, он в степь убежал мышей ловить, как тогда?

— Ну нет уж. Не поверю. Ему так у нас нравится. Его не то что мышами, а мышами с гарниром из крыс из дома не выгонишь. Нет, у меня другое подозрение. Насыр тут вертелся со

своими припевалами. Дразнил Демона, мяукал, выдрючивался тут, как в цирке. Надо его допросить с пристрастием.

Мы с Юркой снова пошли на поиски Демона. Но тут в стороне от сараев нам послышалось мяуканье. Мы бросились туда. Бросились — это, конечно, сильно сказано. Я плелась как тень вслед за Юркой, да и Юрка-то едва ноги передвигал.

— Киса, Киса! Демон!

Мяуканье, а Демона нет. Что такое! Мы в сарай и на крышу — нигде нет Демона, а мяуканье теперь не прекращается.

И вдруг нас осенило. За кладкой сухих кизяков, там, где уже начиналась степь, мы увидели кучу кирпича. Мяуканье явно раздавалось оттуда. Мы бросились как сумасшедшие. И точно! Мяуканье раздавалось из-под кучи кирпича. Мы с бешенством стали раскидывать кирпич.

— Ну, Насыр, фашист! Это его работа. Держись теперь, фашист проклятый!

Разбросав кирпич, мы увидели нашего Демона. Встать он не мог. Он не мог даже шевельнуться. Юрка взял его на руки. Осторожно шагая, на вытянутых руках понес Демона. Из глаз Юрки ручьем лились слезы, и он ругался так, что я не понимала его ругательств. Мы положили Демона в угол на тряпку. А Юрка, ни секунды не медля, вновь ринулся из дома. Он весь дрожал и трясся.

Мы подошли к дому Насыра. Но как его выманить? Знает, гад, свои дела, разве его на расправу вытащишь! И тут мы увидели Насыра. Он шел домой со стороны степи и один! Мы зашли за сарай, и, когда Насыр поравнялся с нами, Юрка, как коршун, схватил его за плечи и стал так трясти, что я думала, у него отвалится голова.

— Это не я,— запричитал Насыр.— Гад буду, это не я, это другие мальчишки!

— Что другие мальчишки? Что другие мальчишки? — визжал, задыхаясь, Юрка.

Насыр понял, что выдал себя, и сразу перестал оправдываться, перейдя в бешеное наступление. У него аж глаза кровью налились от злости.

— Коту вашему паршивому туда и дорога. И с матерью вашей так же будет. Взяла тут власть. Москвичка — деревянная затычка! А ты попробуй тронь, я отцу скажу, он вас всех в тюрьму засадит!

— Ах вот что! — застонал Юрка. — Ах ты иудино племя! Это, значит, вы, фашисты проклятые, донос наклепали. А ну снимай штаны!

Крепко держа Насыра одной рукой, Юрка стягивал с себя ремень.

— А ну снимай штаны, фашист!

— Не буду!

— Ах, не будешь, ах, не будешь!

Насыр стал лягаться, а потом изловчился и дал Юрке головой в живот.

Озверевший от боли Юрка схватил Насыра обеими руками и так закричал, что я вся затряслась. Юрка тыкал мне в руки ремень:

— А ну-ка... бери мой ремень и бей его.

Я взяла ремень. Но руки меня не слушались. У меня уж не было злости на Насыра, мне было страшно.

Но Юрка продолжал кричать:

— Бери ремень сейчас же и бей его! Эх, фашист, твое счастье, что девчонка тебя бьет. Я бы тебе врезал.

Насыр тоже что-то кричал и по-русски и по-узбекски, дергался, хрипел, плевался.

Я стеганула Насыра пару раз Юркиным ремнем, но ремень в моих трясущихся от страха и слабости руках едва коснулся Насыровой попы. Все трое плача, мы разошлись, измученные своей ненавистью.

Когда мы вернулись домой, Демон уже не стонал. Он умер.

Мы с Юркой закопали его в твердой как камень земле. Больные и опустошенные, мы вернулись домой.

Через два дня вернулась из Ташкента мама. Мама! Сто лет я тебя такой не видела. Нарядная, в шелковом полосатом

платье и соломенной шляпе, и даже губы намазаны, молодая и красивая, а я привыкла к тебе другой, когда ты в папиных галифе и белой кепке, и когда от тебя пахнет не духами, а потом, и когда тебе всегда некогда, и ты приезжаешь на Лолите домой всегда на минуточку, и мы, как взрослые, спешим подать тебе поесть, и ты всегда думаешь о чем-то своем, не видишь, не замечаешь нас, взгляд твой устремлен внутрь себя, в свои нелегкие, неженские заботы. А сейчас ты такая, как в Москве, и я такая же, совсем маленькая, ведь я и есть еще маленькая. Я залезла к тебе на колени и, прижавшись носом к твоему плечу, заплакала, зарыдала сразу обо всем — и о Демоне, и о том, что не было тебя со мной, когда я болела.

— Ну что ты, что ты, моя девочка, ты ведь моя маленькая девочка, ты соскучилась?

А Юрка рассказал, как мы сразу оба заболели и как три дня не пили, а потом как Вера привела доктора Юзефа, а он тетю Таджихон.

Мама сняла меня с колен и сразу перестала быть московской ласковой мамой. Она стала скручивать себе самокрутку из махорки. И хотя на маме было еще городское нарядное платье, казалось, что она сейчас в галифе и в своей белой кепке шагает из угла в угол комнаты.

— Боже мой! Я же просила директора Юсупова! Жена у него лентяйка, дома сидит, ни черта не делает. Неужели не могла наведаться!

Мы с Юркой переглянулись.

Юсупов был мамин начальник, директор совхоза, и он же отец Насыра.

Юрка взял и выложил все сразу — и про Демона, и про «деревянную затычку»:

— Так вот, тетя Оля, знайте, с кем дело имеете, ведь это из-за него и вызывали вас в наркомат, он на вас наклепал.

Мама положила руку Юрке на голову.

— Эх вы мои звёрушки беспризорные, малярийные, — сказала мама и вдруг заплакала.

Я так и не знаю, отчего она заплакала. Оттого, что мы звё-

рушки беспризорные, малярийные, или из-за Демона, или оттого, что этот самый насыровский отец на маму нафискалил, а она и не знала, и обращалась с ним, как с человеком. Это и мне было бы обидно. Каждому было бы обидно. Так что пусть поплачет. Но плакала она совсем недолго, потому что и плакать маме тоже некогда.

Вдруг она подняла лицо и говорит мне:

— Мы сейчас же идем в гости.

— Ура! — заорала я, как будто мама объявила не о походе в гости, а поднимает меня в атаку. — Ура! Ура!

Потому что, подумайте сами, кто это не любит ходить в гости, да еще с такой нарядной, красивой мамой. Ведь это как будто до войны, в Москве, как будто и ничего плохого на свете нет. Мы здесь еще ни разу не ходили в гости.

— А куда мы пойдем в гости? — спросила я.

— К доктору Юзефу.

— Ура! Мы идем в гости к доктору Юзефу. Ты рад, Юрка, что мы идем к доктору Юзефу?

— И нисколько даже и не рад! Чего я там не видел! Пижон, белорубашечник!

— Юра, как тебе не стыдно! Он вас вылечил, а ты!..

— Подумаешь, геройская заслуга — двух недорослей от малярии вылечил. Герой! Форсит тут, в белых рубашечках ходит! Да мне бы его годы, разве бы я тут сидел бы. Нет, тетя Оля, как хотите, заранее предупреждаю, пятнадцать стукнет — все, пишите мне тогда приветы: полевая почта номер...

— Ну, я надеюсь, когда тебе пятнадцать стукнет, война уже кончится, а насчет доктора — людей никогда нельзя обвинять, пока ты не знаешь обстоятельств...

— Знаю обстоятельства! Какие там обстоятельства, от немцев спрятался подальше — вот и все обстоятельства! А где он живет, это я вам могу рассказать, если вам так уж надо к нему идти, только я, чур, не иду к этому Пану Фёрсовичу, я, чур, остаюсь ужин готовить, надо же кому-нибудь, в самом деле, ужин сготовить.

— Раз ты так настроен к нему, я и сама тебя не возьму, —

сказала мама, — а то вместо благодарности нахамишь там, хороши мы будем. Говори давай, где он живет.

— А живет он, очень даже просто найти, до конторы дойдете, а там, знаете, аллея из акаций, а на той стороне бараки длинные, вот в самом последнем бараке он и живет.

И действительно, найти доктора Юзефа было очень даже просто, даже вообще искать не надо было, пришли — и все. А вот и он, слава богу, дома, развешивает на веревке свою рубашку, а сам в майке. Наверно, у него одна только рубашка и есть. Он нас увидел, когда мы встали прямо около его носа, и я как закричу:

— Доктор, доктор, а это моя мама!

А он смотрит на маму и застеснялся весь, хуже маленького, наверно, потому, что мы его застали, как он рубашку вешал. Стоит молча и стесняется. И мама тоже вся покраснела. Вот уж этого я от нее не ожидала, я и то его нисколько не стеснялась. Постояла так молча, как в немом кино, а потом как будто — рраз! — звук включился, и он и мама сразу заговорили, каждый свое и друг друга не слушают.

Ну мы зашли к нему в комнату. Ох и интересная комната, я таких не видела. Узенькая, как купе в поезде. Железная кровать стоит заправленная, как в пионерлагере. И подушки даже также лежат углом, и табуретка, а на ней рюкзак лежит, лампочка голая на шнуре, вот и вся мебель. Но самое-то главное, вы бы посмотрели, — все, все стенки в комнате в открытках, приколоты кнопками, а открытки все до того красивые, но только ни цветов нет, ни собак, ни кошек, ни артисток — все только город какой-то, но зато красивый, и, наверно, тыща открыток. Где он только взял так много?..

А я его и спрашиваю, почему это у него одинаковые открытки, все город и город, и даже ни одной артистки.

— Вы в кино ходить разве не любите?

Мама только и ахнула:

— Юля!

А он мне и отвечает:

— Я, — говорит, — очень даже любил в кино ходить, и цветы

любил, и артисток, но сейчас я больше всего люблю свой город, который называется Варшава.

Я говорю:

— Я очень даже вас понимаю. Потому что я теперь тоже больше всего на свете Москву люблю и жалею, что мы из нее уехали. А почему,— я его спрашиваю,— вы не на фронте, почему — спрашиваю я,— вы за свою Варшаву с фашистами не воюете?

Мама опять только ахнула:

— Юля!

А он хоть бы что, спокойно так мне отвечает:

— Я,— говорит,— больше всего на свете хочу воевать с фашистами и вернуться в свой город Варшаву. Но пока нельзя. Приказа нет. Вот когда нас, поляков, соберут много-много, вот тогда мы и поедem воевать с фашистами, а пока что надо приказа ждать. Вот я и жду. Видишь, у меня рюкзак на табурете лежит. Там все собрано. Как приказ получу, секунды не потеряю: рюкзак взял и поехал с фашистами воевать.

— Вот видишь, мама,— повернулась я к маме,— а Юрка говорит, что он не хочет воевать, потому что он пижон и трусит. Знал бы, потом говорил, правда, мама?

Мама покраснела вся и прощение стала просить у доктора Юзефа, а чего просить прощение! Ведь это не она говорила, а Юрка.

А доктор Юзеф и говорит:

— Я совсем не сердит на пана Юрку, я бы на его месте так точно чувствовал.

Вот какой оказался доктор Юзеф!

* * *

На следующее утро нас разбудил тонкий протяжный голос под нашим окном. Я выскочила на террасу как спала, в одних трусах. Около дома стоял незнакомый старик, узбек. На плечах у него было коромысло, только не такое, как у нас, вместо ведер на нем висели два огромных арбуза в сетках из кожаных ремешков.



— Опа-джан-н-н,— опять запел старик.

Тут вышла и мама, недовольная, что ей помешали поспать подольше, в кои веки это удастся. Но только она увидала старика-узбека, она сразу стала как будто другая. Сон как рукой сняло. Разулыбалась вся, веселая такая стала.

— Проходите, пожалуйста, Юсуп-джан, проходите. Чайку поьем, побеседуем.

Старик поднялся на террасу и снял с плеча свое коромысло.

— Вот, опа-джан, первые арбузы, пробовать будешь, скажешь, думаю, спелые уже.

— Ну что вы, Юсуп-джан, такую тяжесть и в такую даль, что вы...

— Подарок дорогому другу плечо не тянет. У нас так говорят. Детки твои пробовать будут, ты пробовать будешь.

Мама вынесла стул для дедушки Юсупа, а сама села на перила.

Мы с Юркой стали разжигать огонь под черным, закоптелым чайником.

Дедушка Юсуп разговаривал с мамой о каких-то своих делах — слово «уборочная» то и дело слышалось в их разговоре. Но тем не менее дедушка Юсуп сразу увидел нашу горе-печку: два кирпича, поставленные на ребро, — вот и вся печка.

— Плохо, совсем плохо так, надо совсем, совсем не так, я буду делать.

— Да что вы, Юсуп-джан, только этого вам не хватало, вам на бахчи спешить надо, пока жары нет!

— От жары у нас не уйдешь, а печку сделать надо. Ведро старый есть, совсем, совсем ненужный?

Тем временем дедушка Юсуп снял халат и, аккуратно сложив его на левую сторону, положил на перила, закатал рукава белоснежной нижней рубашки и сказал:

— Почему стоим? Вода где? Глина делать будем. Кирпичи надо.

Юрка уже тащил из дома ведро.

Дедушка Юсуп покрутил в руках ведро:

— Жалко больно, новый, хороший, но печка нужно. Еще кирпичи нужно, кирпичи будут — будет учак, печка.

Он достал из кармана брюк большой перочинный нож, не спеша раскрыл его, потрогал лезвие большим пальцем и, удовлетворенно кивнув самому себе, сел на ступеньки. А мы с Юркой бросились за сарай к груде кирпича.

Скоро сбоку ведра было вырезано окошко. Мы с Юркой стояли разинув рты. Мы даже и не подозревали, что из ведра

может получиться печка, которая у узбеков называется учак.

Дедушка Юсуп все делал не спеша. Он замесил глину. Выбрал два целых кирпича, вымазал их глиной и выложил ими ведро изнутри, да так складно. Потом взял какую-то проволоку и сплел такую витую решетку, что любо-дорого смотреть, и вмазал эту решетку между кирпичами. Вот это печка!

— Кирпич тепло держать будет, — объяснял нам дедушка Юсуп, — дров совсем мало надо. Но это не годится, — сказал он, показывая на кусты перекати-поля, которыми мы с Юркой топим. — Пых-пых, и все. Надо маленький такой кизяк делать из коровий навоз или лошадиный.

Потом дедушка Юсуп долго мыл руки, раскатал обратно рукава рубашки и надел халат, хотя на улице было, наверно, не меньше сорока градусов жары.

А мама тем временем вынесла из комнаты большой деревянный ящик, покрыла его салфеткой. Вот и получился стол, и мы сели, как будто у нас праздник, как будто война уже кончилась. Вот это завтрак. Арбуз такой сладкий, красный. Теперь мы с Юркой поняли, что у дедушки Юсупа ничего плохого не может быть.

Мы ели дедушки Юсупов арбуз, заедая его лепешками, которые мама привезла из города. Арбуз был сладкий, холодный, крупитчатый. Я такого за всю свою жизнь не ела. А дедушки Юсупа печка тоже была замечательной, и мы ее так и возили за собой всю войну, пока не вернулись в Москву...

Сегодня мама в поле не ехала. Она привезла какие-то там важные бумаги из своего наркомата и шла сейчас в контору.

Мы с Юркой поняли только одно, что наша мама победила, что не помогли подлые доносы Насырова отца, может, наоборот, ему еще и дадут тумака. И мы с Юркой поняли, потому-то мама так долго одевалась и причесывалась — ей хотелось выглядеть настоящей победительницей.

И мы за нее ужасно радовались. И еще радовались потому, что и Насыра, выходит, мама тоже победила, так ему и надо!

— Ребята, вы убрали мое кольцо? — Мамин голос спустил нас на землю.

— Нет, не убрали, оно там лежит, в коробке.

— Нет его здесь. Вот я все вытрясла. — И мама потрясла перед нами пустой коробочкой. — Неужели его украли! Дверь, наверно, не запирали... Это же папин подарок.

— Да нет, мамочка, мы дверь запирали, и потом кто бы стал красть кольцо, кому оно нужно.

Мама и сама это понимала. Если бы уж воры зашли в дом, они бы не кольцо взяли из неприметной коробочки, а более ценные вещи — мешок с пшеницей или хотя бы ковер.

— Ну вот, все настроение испортилось. Вы же знаете, как я берегу его, это же папин подарок! — повторила мама и замолчала.

Мы молчали все трое. Уж чего-чего — змеи, фаланги — а воров здесь не было. Узбеки свои дома вообще никогда не запирают.

— Это взял кто-то из тех, кто бывает у нас в доме. Узбеки исключаются.

И вдруг мама сказала:

— Это Вера.

— Молчи, мама, замолчи сейчас же, как ты можешь так говорить!

— Да, кольцо взяла Вера, больше некому.

— Замолчи, я тебе говорю. Не смей так говорить. Лучше скажи, что я взяла. Да, я взяла. Я! Я! Я! Я! Взяла и выбросила, оно мне надоело. А ты — гадкая, злая, я тебя не люблю, не хочу, чтобы я была твоей дочкой, лучше я уйду к Вере в детдом...

— Ах так! Это матери, матери ты так из-за какой-то девчонки, воровки!

Задыхаясь от гнева, я подбежала к маме и стукнула ее кулаком в живот. Говорить я не могла. Меня душили рыдания. Мама тоже заплакала. Она обиделась, жутко обиделась. Ушла заплаканная. Еще подумает Насыров отец, что это из-за него. Но мне все равно. Внутри сосет и гложет что-то, все равно мне, все равно...

Прошло уже много времени, когда Юрка вдруг сказал:

— А все-таки кольцо точно взяла Верка. Больше никому. Поэтому и не идет к нам. Чует мышка, чье сало съела.

Я ничего ему не ответила. Юрка сказал мне, что надо идти на ферму за молоком, а я сказала, что пойду потом, а он сказал, жарко будет, а я сказала, пусть будет жарко, пусть даже у меня будет солнечный удар и я умру.

Я взяла старую корзинку, в которую собирала кизяк, и пошла в степь. Юрка кричал мне вслед, обзывал дурочкой и уговаривал, даже хотел вырвать у меня корзинку и вернуть домой силой.

Я ни слова не сказала и все-таки сделала по-своему: ушла в степь за кизяком. Собирала сухой коровий и конский навоз как драгоценность. Теперь-то я знаю, это не то что колючки перекати-поля, это топливо — первый сорт.

Так я ходила по степи и почти даже и не думала ни о Вере, ни о ссоре с мамой, думала только, чтоб побольше набрать кизяка. Сначала мне было очень плохо, а потом как-то неожиданно все прошло. Я думала только о том, чтобы побольше набрать кизяка. Меня разобрал азарт.

Я вернулась домой с полной корзиной кизяка. Вижу — мама уже дома. И лицо у нее совсем не сердитое. Значит, и она больше не сердится на меня. О кольце мы молчим, как будто и не было этого разговора.

За все время, пока мы живем в совхозе, мама первый раз сегодня дома, не поехала в поле. Для меня это даже непривычно. Она переплела мне косы, и постригла ногти, и достала другое платье, а то я все в одном ходила и сама его стирала.

— Смотри, мама. Помнишь, какое оно длинное было, а сейчас только до колен.

— Да, зато в ширину двух можно засунуть. Надо побольше есть.

Чтобы понятны были мамины слова, надо сказать, что, живя в зерновом совхозе, мы имели достаточно пшеницы. Но несмотря на вечно сосущий голод, иногда неведомо было есть пустую пшеничную кашу — без сахара, без жира, да и не разва-

ривалась она никогда, мы ели ее полусырой. А после болезни я вообще ее с трудом глотала, так и застревала в горле.

— Картошечку бы, вот что я бы съела.

— Что делать, Юля, не надо капризничать. То, что мы имеем сейчас, — роскошь, мало кто имеет. Вдоволь еды, хотя бы и такой.

Я знала это, знала и то, что ради того, чтобы мы не голодали, мама взялась за эту непосильную даже для иного мужчины работу. Совхоз имел несколько отделений, и каждый день мама должна была верхом на лошади объезжать пятьдесят верст, а жара здесь невыносимая. Сорок градусов считалось терпимым.

— И потом ты ведь сегодня арбуза наелась, живот не лопнет? — И мама похлопала меня по животу.

Это было так непривычно, что мама среди дня не в поле, а с нами, дома, никуда не торопится, не сворачивает свои самокрутки из вонючей махорки. Одним словом, она настоящая мама, какой я не видела ее давным-давно.

Я прижалась головой к ее красивому душистому платью и с замиранием сердца сказала:

— А вот для Веры эта каша как пирожное. Вера вообще даже не знает, что такое пирожное. Представляешь, мама? Давай возьми Веру к нам жить, ну как будто у тебя еще одна дочка. Вот тетя Зоя на ферме так и говорит, что мы агрономшины дочки.

Я говорила и говорила, захлебываясь, перебивая сама себя, но я видела, что до мамы всерьез не доходят мои слова. Она слушает меня, кивает, приговаривает: «Вот видишь, а ты привередничаешь», — и всякие другие слова говорит, но до нее не доходит, нет. И почему это такая несправедливость в жизни, даже мама и то не хочет понять меня. Не понимает, как для меня это важно.

Я слезла с маминых колен, взяла ее руку в свою и уставилась прямо ей в глаза:

— Я не хочу жить без Веры.

А мама опять свое:

— Ну, деточка, мне тоже ее жалко.

— Пстой, мама, погоди. Я не могу, ты понимаешь? Понимаешь? Не могу, не хочу!

Я не могла объяснить, да и сама, наверно, не понимала, как меня съедала жалость, боль, сострадание. Мне хотелось, чтобы мама поняла.

— Мама, ну давай возьмем ее не навсегда. Пусть она у нас живет один год.

— Ты, детка, не понимаешь, так нельзя. С кошкой и то нельзя так. Кошка и та привыкает. Ты думаешь, мне Веру не жалко? Хочется что-нибудь для нее сделать.

— Ну, мамочка, раз хочется, так сделай! Почему же ты не делаешь, раз хочется? — Но я уже точно чувствовала, что наш разговор ничем не кончится, по крайней мере сейчас.

Мама взяла книжку, легла и попросила нас не шуметь. Она сказала, что хочет раз в год, если выпал часок, почитать, а то она уже и забыла, говорит, что на свете существует художественная литература. Всё только сводки и показатели читает.

Хоть маме пришлось так долго ждать, чтобы почитать, но, видно, судьба у художественной литературы была такая, чтоб ее так и не прочитали, потому что мама как только легла, так и заснула.

А я села писать письмо папе на фронт. Но не думайте, что я жаловалась папе на жизнь, а тем более на маму. Вот это письмо:

Третье письмо Юли на фронт к отцу

Дорогой папочка! Сегодня мы ели арбуз, даже два арбуза, очень были сладкие. Дедушка Юсуп принес. И еще он сделал нам замечательную печку-уцак и сказал, что мама может взять в конторе ордер, по которому он нам выдаст еще арбуз. Жалко, что мы не можем тебе послать арбуз в посылке. Но я тебе обязательно напишу, какой будет этот арбуз на ордер — сладкий или нет.

А пока остаюсь твоя верная до гроба дочь Юлиа.

Только я успела дописать письмо и подписывала конверт, как услышала голос Юрки, который готовил на нашей новой печке суп:

— Верка идет.

Я выскочила на террасу. Подошла Вера. Ее трудно было узнать. Она была худущая-прехудущая, хотя и раньше была прехудущая, а сейчас хуже намного. И какая-то вся прямо аж зеленая, а под глазами черное.

— Ты чего, болела?

— Не-е.

— Чего ты не приходила?

— Меня наказали. Три дня запрети.

Мы с Юркой молчали, не спрашивали. Уж больно жалко было Веру, так же жалко, как Демона, когда ему кирпичами кости переломали.

А Вера сама сказала:

— Я кольцо у вас взяла. Под матрасом спрятала. Все равно нашли. Нас не бьют. Только заперли. А я ничего не сказала.

Юрка отошел от печки и подошел к нам. Он уже рот раскрыл. Я так и чувствовала, что сейчас Вере начнет вкаты, что у нас тут было, но, слава аллаху, как тут говорят, не успел высказаться.

— Ты же мне сказала, что надо кольцо потереть — и желание исполнится. Только никому не говорить, а то не исполнится. Я не сказала, а всё равно не исполнилось. А кольцо отдадут твоей матери.

— Эх ты! Кольцо же не волшебное.

— А надо волшебное?!



Я была потрясена всем случившимся и Вериной доверчивостью и ругала себя, что сказала про кольцо, что оно не волшебное. Вера еще больше почернела от разочарования.

— А что ты задумала?

— Я задумала сразу два желания: чтоб мама моя нашлась и чтоб это была твоя мама. Вдруг она вспомнит, что меня потеряла. Но ничего не исполнится! Кольцо, оказывается, не волшебное!

— Может, оно и волшебное, может, я не знала про него, что оно волшебное.

По Вериному лицу разлилась краска.

Я увидела, что Верина надежда на чудо еще не совсем мной убита. Она еще может поверить, может; она такая доверчивая, она поверит — и кольцо совершит чудо. Вера станет моей сестрой.

А мне стало хорошо. Хорошо и легко. Мы пошли с Верой за молоком. И я первый раз взяла ее за руку. Рука была потная и жесткая. Вера поняла мою робкую ласку. На лице ее блуждала застенчивая полуулыбка. Это была упоительная прогулка.

Я, захлебываясь, говорила Вере о том, как мы поедем вместе в Москву, папа купит нам два велосипеда, а потом мы пойдем в Большой театр, и она увидит, как летают волшебные феи, а потом будет елка, и мы пойдем к маме на работу на елку, и нам дадут два мешка с подарками и еще отдельно какие-нибудь игрушки, и мы всегда, всегда будем вместе...

Вера слушала все это, как прекрасную сказку. Наверно, она не думала о том, будет это на самом деле или нет, слишком это было прекрасно, далеко, непонятно. Но даже слушать это для нее было счастьем.

А у меня зрели, пока еще не ясные, планы нашей будущей жизни, ясно мне было только одно — я не могу жить без Веры.

Мы не заметили, как пришли на ферму. Сепаратчица Зоя рьяно что-то доказывала маленькому кривоногому дядьке в грязном белом халате. Зоя совала ему под нос бумажки, громко складывала и вычитала цифры, но было видно, что кривоногого она убедить не может.

Мы привычно стояли у двери, ожидая, пока на нас обратят внимание.

Кривоногий внезапно перестал спорить и, смерив нас взглядом, спросил:

— А это что еще за доходяги? Плесни им, Зоя, лишнюю кружку обрат.

Меня злость брала на кривоногого дядьку за «доходяг», но отказываться от молока не было сил. Тут еще Вера зашептала горячо мне в ухо:

— Повезло нам. А за слова не дуйся. Болтает. Да он совсем не злой.

Теперь, когда прошло почти сорок лет и я вспоминаю ту сцену, я не злюсь на кривоногого дядьку. Я смотрю со стороны, через годы, на двух маленьких худых девочек. Верины темнорыжие густые волосы, стриженные лесенкой, бесформенное вылинявшее платье и бледность до синевы, да и я после малярии немногим лучше. Только косы аккуратно заплетены и платье поновее.

Мы распили с Верой наши прибыльные пол-литра снятого молока. Сейчас Вера не стеснялась. Это было не угощение, которое берут только из вежливости, а честно заработанное. Она ногтем сделала пометку на алюминиевом бидончике, а потом разделила нашу половину и, сверяясь с пометкой, отпила свою часть.

Мы расстались с Верой недалеко от нашего дома. Я не предлагала ей зайти к нам, а Вера никогда не напрашивалась сама.

Я сказала ей только:

— Приходи после обеда. Чур, только обязательно. Хоп? Что-то будет.

Я вбежала в комнату и как сумасшедшая стала тормошить спящую маму.

Мама вскочила, села на кровати, ничего не соображая, повторяет: «Сейчас, сейчас бегу», волосы приглаживает, как будто ей куда-то идти.

— Да нет же, мама, нет, никуда тебя не зовут. Это я, я, послушай, мама! — Я стала ее трясти что было сил. — Прошу тебя, проснись же, я тебе что-то скажу, ты теперь сразу возьмешь Веру в дочки. Знаешь, почему она кольцо взяла? Знаешь? Чтоб желание исполнилось. Чтоб ты стала ей мамой.

— Какое желание, какое еще желание?

— Ну, я ей раньше говорила, если кольцо потерять — желание исполнится. Я-то знала, что это понарошку, только в сказках, а Вера думала, не понарошку, она думала, на самом деле так бывает: потерять кольцо — и желание исполнится. Поэтому она и взяла кольцо. Оно ей не нужно. Ей нужно только, чтоб желание исполнилось.

Мама начала отходить от сна и понемногу поняла то, о чем я ей говорила, и она все время повторяла: «Бедный ребенок, бедный ребенок».

Я залезла к маме на колени и заплакала долгим сладким плачем, облегчающим душу, и мама прижала мою голову, и качала меня, и баюкала, как маленькую, а мне совсем не было стыдно, мне было хорошо, все как-то смягчилось у меня внутри. Само собой мне стало вдруг ясно, что мама никакой не враг ни мне и ни Вере, совсем и не хочет делать назло.

И я думала, что теперь все в порядке, что дело только в согласии мамы. Я даже не думала о том, что Веру могут не отпустить в ее детдоме. А вышло, что все лопнуло именно из-за детдома, из-за их директрисы. Мама ходила и разговаривала с ней, доказывала и упрашивала, но директриса не отпустила Веру жить к нам. Наверное, она что-то такое маме сказала, что мама на нее разозлилась.

А мне мама сказала только:

— Ничего сделать нельзя, Юля. Приучайся к тому, что в жизни не все получается так, как хочется.

Приближались последние дни лета. У мамы началась подготовка к уборочной, и вся жизнь нашей семьи изменилась. Скоро слово «уборочная» стало для нас звучать почти так же, как слово «фронт». Мама вставала в четыре часа утра, будильника у нас не было, поэтому все мы спали беспокойно, несколько раз за ночь вскакивали и хватались за мамины ручные часы, которые лежали на ящике около ее кровати. Мама жалела нас с Юркой и не велела нам вставать, чтоб готовить ей завтрак, мы готовили на ужин больше каши и сразу откладывали в отдельную миску, чтобы случайно не съесть. Мама съедала холодную пшеничную кашу и запивала ее холодным чаем.

Один раз, когда мы с Юркой еще нежились в кроватях, а мама ела свою кашу, в дверь вдруг тихо-тихо постучали. Что это еще за гости чуть свет! Никогда никто к нам так рано не приходил. Мама крикнула: «Войдите!», не переставая засовывать в рот ложку, и мы с Юркой уставились на дверь.

Дверь приотворилась совсем немного, щелочка только будто для кошки, и в неясной предрассветной мгле мы едва увидели, как в щель втиснулся какой-то маленький черный столбик и замер у двери. «Кто ты, что тебе надо!» Наверно, от удивления мамины вопросы прозвучали очень строго. Мы ничего не могли разобрать, что там лопотал этот столбик.

— Да скинь ты в конце концов паранджу, что ты там прячешься? — сказала мама. — И объясни толком, зачем пришла.

Это была девочка чуть постарше меня. Вот радость-то! Навьючили на нее дрянь-покрывало, а впереди сетка, все это называется «паранджа», и накрываются этой штукой вместе с головой, потому что, по старым узбекским законам, нельзя было, чтобы женщина и даже девочка показывала чужим свое лицо. Так это ж по старым законам, а что это сейчас придумали нахлобучить на нее эту муру. Попробуй походи в ней — и дышать нечем и не видно ничего.

Наконец мы поняли, что говорит девочка. Директор Юсупов вызывает маму к себе домой на совещание по подготовке к убо-

рочной. А мама даже и не подумала идти к этому противному Насырову отцу, директору Юсупову.

— Передай, — говорит мама, — что у меня в шесть утра летучка в первой бригаде, все бригадиры там будут, пусть туда приезжает директор Юсупов, все вместе и поговорим о подготовке к уборочной.

Девочка стояла опустив глаза в пол, и было совершенно непонятно, поняла ли она хоть слово.

— Ты поняла меня? Ну повтори, что ты передашь директору Юсупову?

— В шесть часов в первой бригаде летучка, — сказала девочка чисто по-русски.

— Да, и я поэтому не могу быть у него, а прошу его туда приехать, поняла?

Девочка молча накинула паранджу на голову и прошмыгнула в дверь, так ничего не ответив.

Мама встала, натянула кепку, ох и здорово же это у нее получилось: р-раз, одним махом — и вся копна ее волос запрятана в кепку. У меня так не выходило. У меня обязательно какие-нибудь сосульки висели с боков.

Мама ушла. Нам с Юркой не спалось, но вставать еще не хотелось. Мы лежали в своих кроватях и болтали.

— Правда, — говорю, — Юрка, здорово, что мама дала прикурить этому чертову Юсупову.

— Здорово-то здорово, да только он не простит это тете Оле.

— А чего ему прощать, не пришла и не пришла, чего тут такого, у нее же летучка.

— Эх ты, недомерок! В мамины дела лезешь, а понимала бы чего! Да он знаешь какой самолюбивый, зазнайка он! Видала, как к себе вызывает на совещание. Сам сидит на террасе, чай распивает с сахаром вприкуску, пузо распустил, а люди стоят, головы жарят на солнце, даже не позовет на террасу — настоящий буржуй, ему нравится, чтоб люди вокруг него ползали как козявки, и Насыр такой же. А тетя Оля ему — пусть приезжает в первую бригаду! Ха! Да он там со злости, наверно, из своего халата выпрыгнул.

— Ну и пусть выпрыгивает, все равно ему маму ни за что не победить, потому что мама... потому что мама хочет только, чтоб больше хлеба было для фронта, а этот гадкий Юсупов только и думает, чтобы все перед ним ползали.

— Это точно. Хочет он, чтобы все перед ним ползали. Только не так-то легко его победить.

Не знаю, как это вдруг я так сказала Юрке про маму, я никогда и не думала об этом, и вдруг сразу в голову пришло. И в этот день я все время думала про маму — и когда за молоком ходила на ферму, и когда мы с Юркой обед готовили. Иногда даже слезы сами собой наворачивались, а когда Юрка спросил, чего это я, так я сказала, что коленку ушибла. А мама в этот день обедать даже и не приезжала. Она пришла только вечером. Лоли-ту свою сумасшедшую она уже поставила в конюшню и пришла домой пешком. Я видела с террасы, как она идет, устала, видно, до смерти, идет, аж качается, хлыстиком себя по сапогу похлестывает, глаза в землю — видно, все думает про свою уборочную.

— Ох, мама, ну и пыли же на тебе! Давай я полью тебе, воды много горячей, помойся.

— Да, Юлька, грязная я как... черт знает что, да некогда мыться, дело еще на сегодня есть.

— Ну садись, я хоть сапоги стяну. На, надень босоножки.

Мама плюхнулась на кровать, а я привычным движением взялась за сапог и стала тянуть. Вдруг мама дернулась, отвела мою руку и сказала:

— Постой, Юлька, так схожу, в сапогах.

— Ну хоть поешь, мама.

— Потом, Юлька, после. А хочешь, пойдем со мной.

— Ой, еще бы!

Мы шли молча. Мама крепко держала меня за руку, но ничего, ни слова не говорила, куда это мы идем.

Но я знала, что мы идем не к директору Юсупову и не в контору, а куда-то в более интересное место и по какому-то очень интересному делу.

Путь наш окончился всего-навсего у барачков. Мы долго искали и спрашивали каких-то Зипуненко. Наконец мама посту-

чалась в дверь, совершенно незнакомую дверь, к каким-то Зипу-
ненкам.

Сначала мы прошли через темные сени, и там на меня дох-
нуло таким божественным ароматом, что у меня аж в секунду
живот подвело. Ах, я и забыла, что бывают на свете такие запахи:
ведь так пахнут соленые помидоры. Ах, даже слюнки потекли!
За войну я уж и запах этот забыла.

Мы вошли в крошечную комнатку, но до того уютную: и занавески в цветочках, и глиняные горшки на полке, а главное — на столе кастрюля борща и полная миска соленых помидоров!

— Приятного вам аппетита, — сказала мама, — не помешаю?

Какой-то дяденька, длинный и худой как жердь и с длинными усами, как на картинке у Тараса Бульбы, в голубой майке и в шароварах, схватил табуретку и придвинул маме.

— Вот это гость! Это ж, Галю, товарищ агроном, а мы про вас только что гутарили. Сидайте с нами ужинать.

— Да нет, спасибо, мы только что...

Ох мама, мама, нехорошо врать, стыдно. Я сжала мамину руку, и мама, не договорив начатую фразу, неожиданно согласилась:

— Разве что попробовать соленых помидоров, Галина Васильевна.

— Галя у меня и насчет томатов, да чего там томаты, борща попробуйте... Налей, Галя, борща товарищу агроному.— И Тарас Бульба так хлопнул свою Галю по плечу, что другая бы в пол вошла, но только не его Галя, не Галина Васильевна. Она ростом чуть не выше его да пошире раза в два, и косы вокруг головы, наверно, раз пять обмотаны. Вот так Галя.— И томаты обязательно пробуйте, товарищ агроном. Здесь же как: на зиму не усолишь — слишком тепло, так немножко побаловаться сейчас.

— А я, Галина Васильевна, ведь к вам, — сказала вдруг мама, и все замолчали, наверно, удивились.

Даже я удивилась. Тарас Бульба, он-то, я уже знала, он-то комбайнер, да еще к тому же бригадир, у них, понятно, общие дела с моей мамой, ведь уборочная начинается. А вот что за дела такие у моей мамы с его Галей.

— Хочу просить вас, Галина Васильевна... очень, очень прошу вас, Галя,— и мама вдруг взяла ее руку,— прошу вас к нам на поле поваром.— И быстро-быстро мама добавила: — Только, конечно, на время уборочной.

Галина Васильевна смотрела так — видно, не ждала и не гадала, да и Тарас Бульба тоже...

— Да я ж...

Мама перебила Галину Васильевну:

— Знаю, знаю, все знаю. Знаю, что вы работаете в детском саду, что вы с дипломом техникума, да и то не секрет, что работа повара на уборочной каторжная, на жаре, чуть ли не круглые сутки у плиты, пожалуй, потяжелей это, чем у комбайнеров, хоть и им достается, но Галя, Галя, дорогая, ведь надо их поддержать, надо! Это только на два месяца. Да знаете, как мужу вашему завидуют все, что вы ему с собой такие вкусные завтраки даете. Поэтому и пришла к вам. Просить, нет, умолять. Приказать вам не могу, вы специалист с дипломом. Да вас, Галя, обожать там будут, на руках носить, вы королевой будете!

Тарас Бульба так смотрел на свою Галю, как будто она и сейчас уже королева.

— А как же мои дети, детский сад...

Видно было, что Галя согласилась.

— Ну этому можно помочь. Первая партия студентов прибыла на уборочную из Ташкента, так есть тут одна из пединститута, работала до института воспитателем в детском саду, заметит вас на два месяца...

Домой мы вернулись в двенадцатом часу. Только я успела стянуть маме один сапог, как она уже спала беспробудным сном...

Потом-то мы с Юркой узнали от мамы, что, оказывается, она давным-давно все это задумала, ну то есть как все устроить лучше на уборочной. Ведь сколько людей из города пришлют, да и свои совхозные комбайнеры, они даже и домой не ходят в это время, спят прямо там в поле да и почти что совсем не спят. А если еще и голодные или кое-что да как попало проглотят — как тут работать. А мама придумала вот что — разыскать жен-

щину, которая лучше, лучше всех готовит во всем совхозе, и вот нашла Галю. Лучше ее не то что в совхозе, а, наверно, в целом свете борщ никто не умел готовить. Вот мама и уговаривала ее и уговорила.

Да только борщ — это еще не все. А хлеб? Ведь у нас не то что в городе. Взял карточку и пошел в булочную, купил свои четыреста граммов — и горя не знаешь. А у нас? Булочных никаких нет, вместо хлеба муку выдают. Вместо хлеба лепешки пекут дома на сковородке кто как умеет. Да только лепешка лепешке рознь. Пока мы не попробовали таджихоновских лепешек, мы и не знали, что это такое. Наши-то с Юркой лепешки мы с трудом ели. Приходится признать — горе, а не лепешки. А ведь из той же самой муки. Муку всем одинаковую выдают. Вот мама и надумала — Галю на борщ двинуть, а Таджикихон на лепешки. Только никак мама не решалась сказать это Таджикихон. «Удивляюсь, — говорила мама, — откуда только силы берутся у нее, как она на ногах только стоит».

...В один из этих дней мы с Юркой как-то читали вслух «Робинзона Крузо». Мы взяли с собой из Москвы только две книжки: «Робинзон Крузо» и «Дон Кихот». Вот читаем мы вслух «Робинзона», как раз моя очередь читать, и вот ведь, нарочно не придумаешь, такие слова идут в книжке: «... Передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. ...А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал! Надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить... Потом мне нужны были: мельница, чтобы смолоть зерно, сита, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб...»

— Ты заметил, Юрка, мы же сто раз читали «Робинзона», а на это место никогда и внимания не обращали. Сейчас... ну это прямо про нас! Точно? Вот никогда раньше не думала.

— Да, — ответил Юрка, — хорошо еще, что нам дают в совхозе готовую муку и что нам не нужно обносить поле оградой. А остальное точно про нас.

Чем ближе дело подходило к осени, тем труднее становилось у нас с топливом. Мы топили кизяком — сухим коровьим и конским навозом. Этому научил нас арбузный сторож — дедушка Юсуп.

У местных, совхозных, у каждого за домом аккуратно, с ажуром (чтоб просыхали) выложены кирпичи из навоза, перемешанного с рубленой соломой.

А у нас-то с Юркой! Не то что на зиму, на завтра и то не заготовлено.

Вот и мы с Юркой взялись за дело. Чуть свет мама на конюшню за своей бешеной Лолитой, а мы с Юркой берем корзину — и в степь. Степь сейчас выжжена солнцем, как огнем, — ни травиночки. Только сухие шары перекаати-поля, чуть ветерок, и они катятся, бегут, не догонишь их.

Леса здесь нет, и не то что леса, кустика какого-нибудь жалкого или там еще чего-нибудь деревянного — ничего. Есть, конечно, в кишлаке чудесные старые урючины, заманчивые огромные деревья шелковицы, каждая веточка ухожена, каждый листочек просмотрен, не найдешь больного. Деревья здесь ценят, не то что у нас, в Подмосковье. Да правда, здесь они редкость.

Но только не думайте, что если здесь нет леса, так уж и ничего хорошего нет. Посмотрели бы вы, что за чудо эта степь весной, в апреле, в мае, какие яркие тюльпаны, красные и желтые, а как их много, не то что много, миллионы, триллионы, ступить негде, того и гляди, на них наступишь. А какая сочная трава. Красота, раздолье! Даже для коров совхозных и то раздолье. Потому что весь остальной год стоят они, бедные, на ферме, вспоминают золотые майские деньки и жуют всухомятку жмых. Правда, жмых — это не такая уж плохая штука. Жмых и мы не прочь пожевать, если удастся им разжиться.

Так вот, от жмыха и тюльпанов снова возвращаюсь к коровьему навозу.

Навоз-то в степи остался только с весны, летом сюда в кои веки коза какая-нибудь или овца из кишлака забредет в надежде пощипать совхозные посадки акации. Но не тут-то было! Сов-

хозный сторож мгновенно хватал этих злостных нарушительниц и сажал под арест. Мы-то с Юркой от этого не страдали.

Каждое утро мы с Юркой отправлялись с корзиной в степь, и через некоторое время, не так скоро, как нам бы хотелось, у нас за домом образовалась порядочная гора сухого коровьего навоза.

Юрка притащил с фермы мешок соломенной трухи, и мы приступили к изготовлению кирпичей. Разделили навоз на порции, вылили в первую порцию ведро воды, и голый, в одних трусах, Юрка начал месить навоз своими длинными худущими, как жерди, ногами, а я отделяла понемногу, добавляла соломенной трухи и лепила аккуратные маленькие кирпичики, чтоб они влезали в наш мангал.

Ох и увлекательное же это дело! Не поверите, но мы с Юркой оторваться не могли от него. Вообще приятно, когда из ничего или из какой-нибудь чепухи что-нибудь сделаешь.

* * *

Первый раз у мамы выходной. Первый, самый первый. Как мы приехали в совхоз, ни разу не было. И решили мы с мамой съездить на базар.

Мама говорит:

— Наверное, вам с Юркой до смерти хочется чего-нибудь вкусенького?

А я говорю:

— И к тому же запасы надо сделать на зиму. Лук надо, сало, а то как же суп варить?

До базара ехать двадцать пять верст, а может, и все тридцать.

— Тебя я посажу вместе с собой на Лолиту, а вот Юра, Юре придется, наверно, остаться.

Обидно, конечно, Юрке, да что делать. Втроем на Лолиту не сядешь. И пешком не дойдешь. А если и дойдешь, то это уже никакого тебе удовольствия не будет. По жаре топать туда да обратно. Юрка насунился.

— Как что, всегда я отдуваюсь. Да ладно уж.

Назавтра мы встали чуть свет. Да мы привыкли здесь рано



вставать. Это из-за мамы. Работа у нее такая, не разоспишься. Поели холодной каши и пошли на конюшню. Я немножко трусила подходить к Лолите, но терпела. Еще даже сторож дверь конюшни не открыл, как раздалось громкое ржание Лолиты. Я и то поняла, что это она с мамой здороваается, а мама так расцвела вся, тут же в карман брюк полезла, вытащила кусок лепешки. Это для Лолиты.

Вы бы посмотрели, как эта зверюга брала лепешку с маминой ладони. Одними губами. А зубищи у нее — если захочет, тигра загрызет.

Мы с мамой совещались, как мне садиться: впереди нее или сзади. Ну все-таки я села сзади и крепко обняла маму за талию.

Это было первый раз, что я ехала на лошади, пусть не одна,

а позади матери, все равно, да и ведь какая лошадь, никто из совхозных ребят не решался подойти близко к Лолите, а тут верхом на ней. Эх, до чего жалко, что рань такая! Посмотрел бы сейчас на меня задавака Насыр.

Здорово мы прогарцевали по совхозу. Мне казалось, что я так высоко надо всеми, где-то там под облаками. Но проехали мы совсем немного, ерунду проехали, еще только крепость разрушенная показалась, я и пешком туда сто раз ходила, а чувствую я, что не могу больше. Не могу, и все тут. Ноги мои раскорячились, сначала просто неудобно было, а потом больно стало, как будто их вывихнули. Да как же это мама каждый день верхом ездит! Целый день почти что и не сходит с Лолиты. Я начала ерзать, но сказать маме мне было стыдно. Наконец чувствую, что я вообще, наверно, никогда не смогу ноги прямо держать, навек они так и останутся у меня колесом. И тут, на счастье, мама сама спросила:

— Тебе, наверно, неудобно так сидеть, Юля, давай садись впереди, а ноги спусти на одну сторону.

Еле-еле мама сняла меня и пересадила вперед. Не такое это простое дело, скажу я вам, — ездить на лошади, даже хоть и с мамой.

Как я мечтала, когда мы скакали с ветерком по совхозу, встретить знакомых ребят, похвастаться перед зазнайкой Насыром. Сейчас я совсем об этом не мечтала. И что же! Как только мы подъехали к базару, я тут же увидела Насыра. Только он не был вместе с отцом на одной лошади. Он ехал самостоятельно верхом, на нем была, как у взрослых, войлочная шляпа с полями, а в руках хлыст. Он, конечно, тут же заметил меня, закричал по-узбекски на свою лошадь и стал ее хлестать. Оглянувшись на меня, он поскакал вперед, напустив на нас с мамой целый столб пыли.

До чего же я любила до войны ходить с мамой по выходным дням на рынок. Как меня манили игрушечные ряды! Какие красивые расписные деревянные яйца, какие смешные кошки-копилки с щелью на макушке. Но самое прекрасное — куклы. Деревянные с ярко-розовыми щеками, разве их можно сравнить

с куклами из магазина, пусть даже с закрывающимися глазами.

В глубине души я так рвалась сегодня с мамой на базар не за запасами лука и сала, а надеясь увидеть волшебных кукол с ярко-розовыми щеками.

Но здесь не было вообще никаких игрушек. Правда, был необыкновенный виноград, круглый, желтый, до того крупный, я такого и в глаза никогда не видала.

Был здесь и лук, и перетопленное баранье сало в глиняных горшках, и аппетитные узбекские лепешки, но на деньги-то никто ничего не продавал. Все меняли. Больше всего спрашивали галоши и мыло.

Но только не было у нас с мамой ни мыла, ни галош. Было, конечно, мыло дома в совхозе, целых четыре куска, да еще какое, московское, и называется «Красная Москва», пахнет лучше всяких духов, да разве за ним назад поскачешь.

Вот это да! Прокатились, называется. Сделали запасы. Оказалось, что все-таки виноград продают за деньги, не меняют. Ну что ж. Мы с мамой купили винограду.

Что ж ты тут будешь делать! Не пришлось нам купить сало и лук, чтоб заправлять свой пшеничный суп. Но может, когда-нибудь маме еще дадут выходной. Тогда уж мы не растеряемся. Галош у нас нет, а вот мыло «Красная Москва» уж привезем, такого прекрасного мыла ни у кого, наверно, нет, и нам, наверно, за него отвалят гору лука и целый горшок сала.

Вот что здесь можно купить за деньги, покупай сколько хочешь, так это воду. Да, да, самую простую колодезную воду, не с сиропом и не газированную, а обыкновенную воду.

Ну и хороша же вода! Чистая, холодная, и мы с мамой купили большую пиалу воды.

Немножко попили и вымыли две кисти винограда — маме и мне.

Стоим мы с мамой, улетаем виноград, вдруг, как из-под земли, вырастают перед нами директор Юсупов и его прекрасный сыночек. Уж у них, будьте уверены, сумки полны, чего там, наверно, только нет. Чтоб они объелись и лопнули!



Подходит директор Юсупов, за руку с мамой поздоровался и не сходя с места начал маме мораль читать.

— До каких пор, — говорит, — мы с тобой, товарищ агроном (это он маму так называет, как будто у нее имени нет или фамилии), до каких пор мы с тобой ругаться будем.

А мама стоит себе, виноградины губами отрывает и косточки в сторону плюет.

— А я, — говорит, — товарищ Юсупов, совершенно не собираюсь с тобой ругаться и не советую со мной ругаться, давай лучше силы побережем на уборочную, а закончим, тогда, может, и поругаемся.

Смотрю, у директора Юсупова аж глаза кровью налились.

— Ты знаешь, агроном, о чем я говорю! Почему не явилась на совещание?

А мама как ни в чем не бывало лопает свой виноград.

— Во-первых, — говорит, — я раньше тебя назначила на это время летучку в первой бригаде и там были все бригадиры, так что не знаю, с кем ты совещание проводил. А во-вторых, — говорит, — предупреждаю, я и в будущем не буду ходить на такие совещания. Как ты с людьми себя держишь! Что за байские замашки! Почему в бригады не выезжаешь? Домой, видите ли, к себе среди рабочего дня! Да мне ли тебе рассказывать, что сейчас каждая минута дорога! К тому же у нас с тобой лошади, а люди пешком тащатся к тебе с поля, а потом обратно. Мог бы и сам в бригады приехать.

Директор Юсупов так покраснел весь, ну, думаю, сейчас лопнет. Не понравилось, что мама так его пропесочила.

Глаза свои сузил, как щелки, и процедил сквозь зубы:

— Правильно ты только одно сказала, не тебе, женщине, меня учить!

А Насыр-то! Весь в своего папочку. Из-за отцовской спины выглядывает, глаза такие злющие, и тоже щелочки делает, как отец. Нагрузили они своих лошадей и поскакали вперед. И мы на своей Лолите двинулись в обратный путь, ничем мы не разжились на базаре. Вот, называется, и мамин выходной!

Скоро, скоро в школу. И хочется и страшно. Здесь все чужие, какие-то совсем не такие, как у нас в Москве. И Вера не будет со мной учиться, потому что у них в детдоме своя школа.

А вот Юрке и вовсе некуда идти в школу. Здесь только семилетка, а он уже седьмой класс кончил, что же ему второй раз, что ли, сидеть в седьмом классе, ни с того ни с сего, как второгоднику.

Юрка сказал:

— Нет школы для меня — тем лучше, поеду в Москву, поступлю в летное училище.

А мама сказала:

— И куда ты в Москву не поедешь, не для того мне моя сестра тебя поручила, и для летного училища ты еще мало каши ел. Пожалуй-ка вот что: почему тебе не поступить на курсы трактористов?!

— Тоже мне дело! — Юрка даже губы надул.

А мама говорит:

— Сразу видно, что еще каши мало ел, а то бы сразу пошел, научишься трактор водить и танк потом в два счета, а пока что здесь полезным будешь, на трудовом фронте.

— А правда, тетя Оля, трактор — это почти что танк, это здорово, это ведь не то что лошадь или тем более ишак, трактор — машина! Решено — иду на курсы.

Через три дня Юрка уехал от нас в другой совхоз, где были эти самые курсы трактористов.

Мы с мамой остались одни.

...Наступило 1 сентября.

Мы выстроились на площадке около школы не по классам и даже не по росту, а просто так. Директор школы говорил речь. Он даже ни словечка не сказал, что надо хорошо учиться, а сказал, что вся страна трудится для фронта и мы, школьники, тоже должны внести трудовую лепту.

Я не знала, что это такое. Наверно, почти все не знали, но мы поняли, что мы должны тоже трудиться. И он сказал, что наш совхоз делает великое дело — дает фронту хлеб, а то как бы

фронт воевал без хлеба (и папа мой так же писал об этом в письмах с фронта). Еще директор сказал, что мы будем собирать колоски там, где уже убрали пшеницу. И еще он сказал, что каждый должен собирать в мешочек, чтобы потом ссыпать и говорить, сколько он собрал мешочков колосков. И оказывается, они, учителя, нарочно так придумали, чтобы каждый мог считать, сколько он собрал зерна.

— Если каждый из вас не поленится и соберет в день десять мешочков колосков, то это уже пять килограммов зерна, а за десять дней это уже будет пятьдесят килограммов зерна. И каждый из вас может с гордостью сказать, что он собрал для фронта пятьдесят килограммов, или шестьдесят, или даже сто килограммов зерна. А так как у нас в школе почти сто учеников, и если каждый соберет в день в среднем десять мешочков колосков, то сколько мы всей школой дадим фронту килограммов зерна?

Кто закричал тысячу, а кто закричал пятьсот!

И директор сказал:

— Пятьсот — это в один день, а в десять дней сколько? Пять тысяч, правильно? А это уже не пустяки. И если бы не мы с вами, то эти пять тысяч килограммов зерна, то есть пять тонн зерна сгнили бы в земле, потому что взрослым некогда собирать колоски, они более серьезными делами занимаются. Но и мы, школьники, сделаем серьезное дело для фронта, если каждый соберет в день не меньше чем десять мешочков колосков. Так вот, сейчас расходимся по домам, переодеваемся, надеваем обязательно что-нибудь на голову и идем на место сбора. А одиннадцатого сентября мы собираемся здесь на торжественную линейку и даем отчет, как мы поработали для фронта.

Потом нам роздали мешочки, совсем как настоящие большие мешки, только как будто для кукол сшитые, и это было очень интересно.

Я вернулась домой, надела платье, в котором я ходила все лето, проглотила про запас, хоть и недавно завтракала, ложку холодной каши и тут скорее почувствовала, чем услышала, что у террасы стоит Вера.

После того дня, как мама ходила к ним в детдом, мы с Верой

по-прежнему почти каждый день проводили вместе, но что-то изменилось, что-то встало между нами, многие темы стали запретными в наших разговорах. Я иногда еще пыталась говорить о нашей будущей совместной счастливой жизни в Москве. В конце концов не вечно же ею будут командовать, скоро она станет взрослой и сможет делать что захочет. И ехать куда захочет, и тогда она придет к нам в Москву, и мы будем жить вместе и тогда...

Но Вера всегда молчала, никогда не поддерживала таких разговоров. И молчание ее было не то что раньше, оно не было верящим, лучезарным. Она как будто сразу подчинилась неизбежности и чувствовала, что теперь все мои слова ничего не значат.

Скоро и я перестала говорить об этом. И получалось, что об очень многом нам говорить нельзя. Мы еще не могли друг без друга жить, но быть вместе нам было уже не так хорошо, как раньше, было невесело.

Вера пошла со мной на колоски и приходила каждый день, и мы старались отойти подальше от других ребят, хотя теперь мы чаще всего молчали.

Среди ребят, собирающих колоски, был и Насыр. Оказывается, мы будем учиться с ним в одном классе.

Он не говорил ни слова, не вспоминал ту расправу, которую мы с Юркой учинили над ним, но злость он затаил ужасную. Она так и пылала в нем и обжигала. Тронуть нас он боялся, так как рядом с нами были учителя. Но сколько обидных слов и прозвищ было кинуто в нас. Мы старались не обращать внимание. Громко разговаривали и искусственно смеялись. Насыр решил отыгаться пока на Вере. Он подходил к нам и обзывал Веру рыжей, конопатой и нищенкой, и еще тысячи обидных слов вылетали из его рта. Веру, как казалось, это мало трогало. Насыр продолжал свои наскоки, свои ядовитые уколы, пока не задел Вериного больного места. Но лучше бы он его не задевал, для него было бы лучше.

Однажды Насыр остановился прямо рядом с Верой, глядя ей в лицо, и спокойно сказал:

— Собака безродная, твои родители были хуже воров. Они были подлые враги народа!

Вера выслушала этот выпад спокойно, как и все остальное. И вдруг, я даже взглядом за ней не поспела, как она налетела на Насыра, схватила его одной рукой за короткий чуб, а другой за ухо и так трясла и дергала его голову и при этом еще своей ступней несколько раз дала ему как следует под зад. Насыр задохнулся от гнева, с раскрытым ртом, так и не вывернувшись из цепких Вериных пальцев, он схватил Верину ногу, но она не отпустила его уха, и так они вместе упали на землю, на жесткую щетку жнивья, и катались, кусались до тех пор, пока не подбежала наша учительница Галия Рахмановна, а за ней и директор школы, но и они не сразу могли растащить Веру и Насыра.

Наконец их подняли на ноги, исцарапанных, оборванных. У Насыра огнем горело ухо, а у Веры лицо было исчерчено частыми царапинами, из которых сочилась кровь.

Боже мой, сколько ругани, нравучений, нотаций было вылито на нашу голову. Директор грозился даже исключить из школы драчунов, но постепенно выяснялось, что Вера — чужая, не из нашей школы, а Насыра Юсупова, сына директора совхоза, директор школы узнал, когда немного успокоился.

Тогда его гнев обернулся против Веры.

— Что вообще здесь делают чужие дети, что это такое, я спрашиваю! Кто мне ответит?

Ответить решила я. Я стала говорить, что Вера помогала нашей школе собирать колоски, а Насыр...

— Не надо нам таких помощников! Прочь! По местам!

— Каких «таких»?

— Это что за грубости! Ты наша ученица? С тобой мы еще разберемся!

Вера пошла растерзанная, и я могла проводить ее лишь взглядом. Она несколько раз оглядывалась на меня, и я видела, как страдает она от того, что мы не можем сейчас вместе разделить обиду, боль от несправедливости.

Эти десять дней мы с Верой так и не виделись. Я поздно приходила с поля. Веру не выпускали вечером из детдома.

Этот случай сблизил меня с ребятами из класса. Все девочки были на Веринной и на моей стороне, да и мальчишки, за исключением нескольких Насыровых приятелей, тоже. Только они не выражали так бурно своих чувств, как девочки. Те так налетели на Насыра, и ругали его, и язвили. Некоторые даже пытались стукнуть его. Опять затевалась драка, и директор зло посмотрел в нашу сторону, пока самая рассудительная девочка наконец не остановила нас.

— Да что мы, девочки, будем связываться с Насыром? Зачем он нам нужен? Давайте лучше не обращать на него внимания!

Девочки засмеялись и, сдвинув головы (сзади все одинаковые, с черными косичками), о чем-то заговорили, зашушукались.

Насыр отошел к группе мальчишек и бросил на меня такой взгляд, что я поняла — наша война с ним только начинается...

Зато я обрела сегодня сразу столько хороших подруг. Все девочки в нашем классе были узбечки, все, кроме одной, жили не в совхозе, а в кишлаке и никогда нигде, кроме совхоза и своего дома, не бывали.

Не знаю, как-то так получилось, сначала я просто отвечала на их расспросы о Москве, потом начала рассказывать сама. И про елку в Колонном зале и про Большой театр, про метро, улицу Горького, двухэтажный троллейбус.

Больше всех чудес девочек поразило то, что бывают дома в несколько этажей. Они спрашивали меня снова и снова, недоверчиво улыбаясь, расширяли глаза и снова задавали вопросы: «А как же люди не падают с лестниц, забираясь так высоко?» Оказывается, ни одна из них не представляла, как устроены лестницы в многоэтажных домах. Они думали, что лестницы приставляются к стенам домов.

Постепенно рассказы о Москве исчерпались. Я стала рассказывать сказки Андерсена, братьев Гримм, Гауфа и чувствовала, что сказки вызывают большее доверие, здесь не было недоуменных восклицаний, круглых глаз и неловких, недоверчивых смешков. Казалось, здесь все свое, понятное. И даже рассказы о волшебных замках не вызывали вопросов. Видно, они представляли

себе замки на свой лад, наподобие старинной разрушенной крепости, что стоит по дороге на бахчи...

Однажды, когда мы с девочками сдавали колоски на сдаточном пункте и Галия Рахмановна записывала наши мешочки, я услышала сзади себя тихий смех, как мне показалось — Насыров.

Я отошла немного и увидела за горой зерна Насыра с его компанией. Они насыпали в свои мешочки зерно из собранной нами горы.

Галия Рахмановна записала нас, но я задержалась на минуту и увидела, как Насыр со своими припевалами подошел к Галие Рахмановне.

Галия Рахмановна внимательно поглядела на Насыра и с сомнением в голосе сказала:

— Юсупов, вроде бы только что сдавал...

— А у нас ударный метод, — не задумываясь, ответил ей Насыр.

Ничего не подозревая, Галия Рахмановна благодушно его похвалила:

— Ну, молодцы, молодцы, продолжайте в том же духе.

Насыр нахально засмеялся, его свита несмело ему вторила.

Меня распирало от возмущения, но я знала, что если я скажу сейчас Галие Рахмановне об «ударном методе» Насыра, он, конечно, откажется, ребята его поддержат, и я же окажусь виноватой, что наговариваю на него.

Я побежала в поле, к девочкам, но с этой минуты не переставала следить за Насыром.

Насыр со своими дружками теперь всегда уходил подальше, но не видно было, чтоб они наклонялись к земле за колосками. Они держались стайкой, часто раздавался оттуда смех. А то они сидели там же в стороне от всех, тесно сбившись, и, видно, рассказывали веселые истории.

Мне было ясно, что ни Насыр, ни его компания колоски не собирали, а на сдаточном пункте сдают колоски, уже собранные нами.

Но они же не только нас обманывают, они обманывают фронт,

мы же собираем хлеб для фронта! Приходит ли это им в голову?

Но застать Насыра на месте преступления мне так и не удалось. Видно, они стали осторожнее и приходили на сдаточный пункт, когда там не было других ребят.

Пролетели десять дней. По показателям получалось, что мы поработали хорошо и набрали колосков даже больше, чем предполагалось вначале, но я-то знала, что не все работали и что когда начнут взвешивать наше зерно, там окажется его гораздо меньше, чем записано в тетради у Галии Рахмановны.

Мы выстроились на торжественную линейку. Директор опять говорил речь, но я даже не слышала, что он говорил. Во мне стучала кровь, все разрывалось внутри. И вдруг! Неужели возможна такая несправедливость!

Галия Рахмановна объявляет, что на первом месте по сбору колосков оказался Насыр со своей компанией. И они как ни в чем не бывало вышли вперед из строя. И гремят барабаны, и играет горн, и пионеры отдают салют, и Насыр стоит гордый. И все ребята, все наши обманутые ребята, в строю тоже гордые за него. Как же может быть, как он не провалится сквозь землю!

Подходит директор и протягивает Насыру лист. Это не просто лист, это Почетная грамота, и Насыр важно берет ее и пожимает протянутую ему директором руку.

«Нет, нет,— кричу я,— это несправедливо, стойте, нельзя!»

Но крик этот только внутри меня, а из меня вырвался только хрип, который никто и не услышал, потому что гремели барабаны и пел горн...

Я не смогла разоблачить Насыра, но и забыть это не смогу никогда... Так это во мне все перевернуло, что первый день в школе прошел для меня как в каком-то тумане. Я смотрю во все глаза на нашу учительницу, а сама вижу наглуую рожу Насыра, когда он директору школы руку пожимает. Слушаю вроде бы учительницу, а ничего не слышу, в ушах так и стоит бой барабанов и пенье горна, и еще как директор благодарит Насыра за хорошую работу.

И такая злость во мне поднялась, только не на Насыра, а на себя саму, почему я не вышла вперед перед линейкой и не рас-

сказала всем, какой Насыр обманщик. Побоялась, что не поверят. Конечно, Насыр бы придумал что-нибудь гадкое, сказал бы, что я на него наговариваю из-за того, что у наших родителей разлад.

Подожди, Насыр! Подожди! Придет твое время!

...Вот и кончился мой первый день в школе. Я выхожу из школы, и тут ко мне подходит один мальчик — я знаю, что он из Насыровой компании, — и говорит, что меня зовут, и показывает рукой за угол школы.

Я знаю, что не надо идти. Знаю, что раз это Насыров посланец, то ничего хорошего не будет, но меня такая злоба обуяла, что я уже ничего не соображаю, как будто на зло самой себе делаю. Я поворачиваю за угол школы и иду, продолжаю идти, хотя вижу Насыра и его дружков. Они довольно ухмыляются. А я иду, иду, подхожу к ним. Они стоят у кучи битого стекла, и Насыр говорит:

— А ну снимай туфли.

Я снимаю туфли.

— Иди сюда, — и показывает на кучу битого стекла.

Я подхожу и становлюсь с краю кучи. И тогда Насыр достает свою руку из-за спины, и я вижу, что в руке у него длинный прут акации с толстыми шипами. И Насыр спокойно говорит:

— Скажи, что ты врала, что в Москве дома в несколько этажей, скажи: «Я — москвичка — деревянная затычка», скажи, что твоя мать — подлая шлюха. Скажи все это, и мы тебя отпустим.

Я молчу.

— Скажешь?!

Я молчу.

Насыр поднимает прут, и колючки впиваются в мои ноги, я подпрыгиваю и приземляюсь на битое стекло.

— Скажешь? Скажешь?

Я вижу, что глаза Насыра налились кровью. Он не переставая взмахивает прутом, а я, уже не чувствуя боли, подскакиваю на битом стекле, и вдруг слышу надрывный голос. Это кричит тот мальчик из приятелей Насыра, что позвал меня. Он кричит что-

то по-узбекски и вдруг бросается на Насыра. И что это? Вся компания Насыра бросается на него. А я думаю, как же мне дойти домой, и потом я уже ничего не думаю, я плыву, мягко плыву куда-то. Мне хорошо, только поташнивает...

И кого же я вижу, открыв глаза? Я вижу доброе милое лицо тети Таджихон, как будто я все еще болею малярией, а все остальное мне только приснилось.

Но тут же я вижу и маму и доктора Юзефа, а дальше и все остальное. Я вижу наш обеденный стол и вижу на нем белую простыню, и на краю стола разложены такие страшные, такие ужасно страшные щипцы, что смысл этой картины тотчас дошел до меня.

И вот они, все трое, подходят ко мне с разных сторон, как мальчишки, которые ловят подраненного голубя, и я кричу:

— Не хочу, не хочу, не буду, нет, нет! — и бью по протянутым рукам.

Доктор Юзеф говорит:

— Но ты же не можешь остаться с осколками стекла в пятках, ты что, хочешь на всю жизнь остаться в постели?

А мама говорит:

— Юлечка, Юлечка, это не больно, совсем не больно, — и протягивает ко мне руки.

Я бью по ее рукам. И доктор говорит:

— Оставьте ее, Оля, пусть из-за своей трусости останется на всю жизнь инвалидом, и к ней даже никто не подойдет. На фронте бойцам отрезают ноги без всякого наркоза, а тут...

И вдруг они, хитрые, верно, как-то молча сговорились, как-то незаметно подошли ко мне, хватъ — и на стол.

Я кричу что есть мочи, но прекрасно слышу, как доктор дает команду:

— Вы, Оля, держите руки, а ты, Таджихон, ноги.

Про маму-то я знала, что из ее рук ни за что на свете не вырваться, но вот от Таджихон я этого не ожидала. Как железными клещами схватила она мои ноги. Я кричу:

— Ой, не так сильно держите, ой, отпустите!

А она как будто ничего не понимает по-русски, даже ухом



не ведет, хотя я-то прекрасно знаю, что она понимает по-русски.

И я кричу:

— Ой, больно, ой, больно!

И мне действительно больно, даже не пойму, от чего больше — от докторских ли щипцов или от щипцов Таджихоновых рук.

И вдруг все разом прекращается, и доктор кладет щипцы, и Таджихон отпускает мои ноги.

— Вот и все, — говорит доктор, — но ты, Таджихон, рано отпустила эту крикушу, пусть еще немного легкие потренирует, сейчас йодом смажу.

И снова Таджихон вцепляется в мои ноги, но на этот раз доктор не берет щипцы, у него в руках палочка с намотанной на конце ватой, поэтому совсем не страшно, и я не кричу, хотя, оказалось, что смазывать йодом хуже, чем тащить стекло щипцами.

Потом доктор быстро забинтовал мои ноги, и я получилась совсем как раненый боец, и меня переложили на кровать.

Сейчас мне было хорошо, легко, и особенно хорошо, что не надо маме всего рассказывать. Она почему-то все уже знает, не знаю откуда. Наверно, насыровские мальчишки рассказали.

На меня находит сон, и уже почти во сне слышу, как мама говорит доктору Юзефу:

— Если бы не война, я подала бы на них в суд. Это же настоящий маленький садист, но что делать, что делать, нам с его отцом каждый день встречаться, у нас у самих сейчас как на фронте... Я должна видеть его и... не могу.

Тут я заснула.

...Дни идут. Снова и снова я вижу около себя Таджихон. Она приносит из кишлака какие-то листочки и прикладывает к моим ступням. Хорошо, прохладно. А она говорит, что с ними скоро заживет.

Маму я не вижу совсем. Я только знаю, что она уходит в четыре часа утра, а приходит, когда уже совсем темно, — у нее уборочная. Это слово у нас в доме говорят так же, как слово «фронт».

Один раз, когда тетя Таджихон задержалась допоздна, пришла мама и стала ее ругать.



— Ну что ты, опа-джан, надрываешься! Девка здоровая, а ты около нее все время тратишь, у тебя там свой колхоз, а она что, пусть лежит себе да книжку читает.

У тети Таджихон было одиннадцать человек детей и самому старшему было уже двадцать лет, и он был на фронте, а младшие еще не ходили в школу.

— Хорошо, хорошо, опа-джан, — отвечала ей тетя Таджихон и продолжала приходить ко мне каждый день.

Хоть на полчаса, да придет. Принесет мне свежую мягкую лепешку да пиалу кислого молока и обязательно свежие чудо-листочки, которые лечили мои ноги. А путь тети Таджихон был не ближний. Она жила не в совхозе, а в кишлаке за каналом. И еще тетя Таджихон обязательно приносила что-нибудь маме на ужин, и я знала, что приходила она, может, не из-за меня, а из-за мамы, потому что они стали подругами, как мы с Верой.

И конечно, если тетя Таджихон не приносила бы каждый день маме ужин и не оставляла его на столе, мама так и ложилась бы спать голодная, потому что не только готовить, а раздеться сил у нее не было. Почти всегда она валилась на застеленную кровать как есть, в галифе и в кителе, только кепку свою снимала.

А вставать-то чуть свет. В четыре утра мама вставала. Как-то, уж мама одной ногой за порогом, вдруг слышим на террасе звонкий, приятный такой голос Таджихон. Мама так и хлопнула себя по своим галифе.

— Вот, ей-богу, неугомонная. Ведь дело такое ей навязала, свой колхоз дома, а она сюда таскается, ну сейчас я ей...

И тут вошла, только не вошла, а вбежала Таджихон, маме даже рот не дала раскрыть, машет на нее рукой:

— Некогда мне, некогда, опоздаем, совсем время нет, по делу я, хорошо, застала тебя, давай проверь работу.

И у Таджихон, словно у фокусника тарелки, вдруг оказались в руках две большие лепешки. Но что это за лепешки! Красота, а не лепешки. В середине, где у тарелок доньшко, тоненькие, аж прозрачные, а по краям до того пышные, до того румяные. Ну и лепешки! Всем лепешкам лепешки!

— Вот, опа-джан, пробуй,— сказала Таджихон,— один тебе, один Юльке.

— Вижу, что лепешки на славу, молодец Таджихон, а все же я должна поругать тебя, Таджихон. Разве ты имеешь право угощать этими лепешками, это же не твоя мука, это же...

— Молчи, скорей молчи, опа-джан, а то очень обижаешь Таджихон. Таджихон разве когда взяла чужое? А пробовать надо, надо знать, что люди будут есть. Таджихон своим делает хорошо, а много людей никогда не делала, не знает, будет хорошо. Таджихон свою муку кладет, чтоб пробовать, чтоб опа-джан угощать.

Мама вернулась в комнату, а то стояла все на пороге.

— Прости меня, дорогая сестра Таджихон, прости меня и, если можешь, забудь, как я тебя обидела.

Мама взяла протянутую ей Таджихон лепешку и разломил ее.

— Да она теплая, когда ж ты, Таджикихон, успела! Да ты и не спала вовсе.

— Днем тесто ставила, ночью пекла. Только сейчас кончала. Два мешка получилось, свой ишак взяла. Везем скорей, время совсем нет.

— Нельзя так, Таджикихон. Да это я виновата. Не рассчитала, сколько времени отнимает, ну да мы устроим, я выделю тебе женщину, Таджикихон, в помощь.

— Не надо женщина, опа-джан, дочка большие, помогать будут. Справимся. А ты, опа-джан, свои дела думай, лепешки не думай, Таджикихон взялась — Таджикихон сделает.

Мама, ни слова не говоря, крепко сжала Таджикихон и прикоснулась щекой к ее щеке.

Один раз, когда мама сидела и ужинала, к нам в окно кто-то постучал, и я услышала голос директора Юсупова — Насырова отца.

— Ольга Михайловна, выйди, разговор есть.

Мама вышла на террасу, и я слышала, как налетел на нее директор.

— Ты что ж это, агроном, распоряжаешься, как будто я уже не директор, я — никто! Выписала наряд Рахмановой на муку, устроила тут пекарню на дому. Да ты знаешь, как это называется, частный сектор это называется, вот что. Да я тебя под суд отдам за такие дела!



Я вся задрожала от страха, и вдруг я услышала, что мама рассмеялась и очень даже весело рассмеялась.

— Пугай, пугай, товарищ Юсупов. Да только я тебя не боюсь. — И точно видно было, что мама ничуть даже его не боялась. — Давай пиши на меня доносы в наркомат, как ты это уже делал, да только пока твои писульки там получают, мы хлеб уберем. Знаешь, сколько хлеба будет в этом году? — И мама снова весело рассмеялась. — Ни одного зерна у нас не пропадет. А победителей не судят. Понял? Слушай, товарищ Юсупов, — продолжала мама, уже не смеясь, — оставь свои интриги, у нас с тобой — уборочная! Если б я захотела интриговать, ты сам знаешь, что я могу тебе устроить. Да, я о деле думаю. Нам вместе с тобой уборочную заканчивать. Людей просили из города? Двести человек приехали, а чем кормить будешь? Одной кашей сухой? Люди истощены, небось год мяса не видали. Не могут люди без хлеба. А пекарня у тебя полгода стоит. Наши-то, совхозные, кое-как перебиваются самодельными лепешками. А тут люди делá бросили в городе, приехали нас с тобой выручать — и голодать будут! Нет уж, я этого не потерплю. Лучше под суд меня отдавай, там разберутся. Ты знаешь прекрасно, что Рахмановы — честнейшая семья, ни горсти муки не возьмут себе, это ты и без меня знаешь. А еще я скажу тебе, товарищ Юсупов, если тебя жизнь над людьми поставила, так не для того, чтоб их погонять, как ослов, а чтоб руководить ими, организовать их труд, их быт, а погонять людей не нужно, они и так делают все, что могут. А то — давай, давай! А что ты им даешь, товарищ Юсупов?

— Красиво поешь, агроном, только вот как бы потом не заплясала. Людей знаешь как надо... — директор Юсупов сжал свой огромный жирный кулак. — А то в прошлом году...

— Вот мы и не будем повторять ошибки прошлого года, — перебила его мама. — Сейчас у нас тут все равно что фронт. Лучше подумай, как людей разместить...

Вот чудеса-то! Мама как будто веревками скрутила страшного директора. Он отвечал уже совсем другим тоном. Как будто лучший друг мамы, как будто и не грозил только что отдать ее под суд!

Дорогой папуля!

Ты нас поздравил с началом учебного года, а мы вовсе и не учились. Ну, то есть учились, но не так. Юра учится на курсах трактористов, потому что здесь только семилетка, а он же и так кончил семь классов, что же ему второй год, что ли, в седьмом сидеть. Он решил на тракториста выучиться, а потом переучиться на танкиста. А наша школа собирает колоски. Нам раздали такие мешочки, как будто для тапочек, но это для колосков. Туда входит полкило. Если я наберу в день десять мешочков, значит, я набрала пять килограммов хлеба для фронта, а за десять дней целых пятьдесят килограммов. Правда, здорово придумали? У мамы тоже уборочная. Я сейчас ничего не готовлю. Мы отдали свои карточки в столовую и будем там обедать. Мама говорит, это для экономии времени, потому что у нас уборочная.

Остаюсь твоя верная до гроба дочь Ю л и я.

На следующий день мама пришла пораньше, у нас была еще тетя Таджихон. Мама пришла не одна, с каким-то узбекским парнем, но, видно, не здешним, городским. Так и оказалось, что это студент, из тех, кто приехал из города убирать хлеб.

Мама вся на парах, меня даже не поцеловала, сразу к тете Таджихон:

— Таджихон, ты должна помочь нам. Я знаю, что ты поможешь! Вот видишь, люди приехали работать, а жить негде. Пожилых-то мы разместили по квартирам, а молодежь решила жить прямо на поле, да вот дело какое — девушки боятся фаланг, надо шерстяные кошмы на землю класть, на шерсть фаланги не пойдут... Так ведь, Азиз? — спросила мама студента. — У директора этих самых кошм полно, вся терраса застелена, да просить его не хочется, знаешь, что он за человек! Я вот ковер свой даю им, — мама пнула ногой ковер, который лежал у нас на полу, — он тоже шерстяной. Ну как, Таджихон, поможешь?

— Конечно, — ответила Таджихон и приготовилась идти, опустив свою паранджу на лицо.

Раньше я никогда не видела, чтобы тетя Таджихон опускала свою паранджу.

Парень этот, студент Азиз, вдруг как начал что-то причитать по-узбекски, я поняла, что это он на тетю Таджихон напустился. И точно. Он маме объяснил. Оказывается, он ругал ее за то, что паранджу носит. И маме досталось.

— И вы, товарищ агроном, можете это терпеть и еще в своем доме? Она же нас позорит. Двадцать пять лет революции, а она еще паранджу не сняла. А вы куда смотрите? Где же ваша просветительная работа? Образованный человек из Москвы. Эх вы!

Мама, видно, смутилась, почему-то она больше испугалась этого совсем не страшного Азиза, чем злого директора.

— Да, Азиз, конечно, вы правы. Некогда все, текучка заедает. Людей не хватает. А вы не могли бы помочь нам в этом? Провести комсомольский рейд по кишлакам. Вот только уборочную закончим.

Но настырный Азиз не оставлял маму в покое:

— Если мы будем ждать, когда все дела закончим, товарищ агроном, то тетушка Таджихон у нас состарится в парандже и ее дочки и ее внучки тоже будут паранджу носить!

Наконец Азиз с Таджихон ушли, и мама крикнула вслед:

— Потом к нам заходите, Азиз, за ковром! Ну, а мы с тобой что будем делать, Юлька? — наконец-то заметила мама и меня.

Только хотела я сказать: «Давай вместе поужинаем», смотрю — она уже спит, как села на кровать, даже сапоги не сняла, голову только к подушке прислонила и спит. А я без нее так ужинать и не стала.

Не пришлось маме как следует выспаться. Закатились к нам веселые гости. Тот студент Азиз пришел, а с ним еще два студента. Еще в дом не успели войти, а шуму, смеху, кричат на весь свет, какой уж тут сон!

Мама вскочила, как будто и не спала вовсе, и смотрю, она совсем даже не злится, что ее разбудили, смеется с ними, кричит тоже, как будто она тоже студентка.

Взяли с пола наш ковер за четыре угла и пошли, но тут мама остановилась и говорит:

— Вы идите, я сейчас!

Смотрю, галифе свои стягивает и платье достала.

— Мам, ты уходишь?

— Хочешь туда?

— Еще бы! Я с тобой.

— Как пятки твои?

Я уж два дня как поднималась, ноги вроде почти совсем зажили, да и нельзя залеживаться. А то кто же за мамой будет смотреть? У нее уборочная, ей в рот не положишь, она и не вспомнит про еду. Юрки нет. Не может же тетя Таджихон своих десять детей бросить и навеки у нас поселиться. Так что я ковыляла потихонечку, стараясь не наступать на ступню прямо, а ставила ее боком, на ребро. Ну мне что собираться, а мама, смотрю, не только платье, и туфли тоже надела. Не хотелось ей, наверно, чтоб студенты подумали, что она, кроме сапог да галифе, никогда ничего и не носила.

Пошли мы туда, где студенты лагерь свой устроили. Ох, тут смеху, шуму.

Кошмы стелят, а кто-то кричит:

— Я в палатке спать буду!

Тут и палатки две стоят.

Только не вышло у них в палатках спать. Мама там порядок навела.

Как мы подошли, она и говорит:

— Палатки надо снять, а брезент растянуть наподобие тентов, а кошмы под тенты.

— Да разве дожди тут у вас бывают? — спросил кто-то.

И все засмеялись. Насчет дождей это действительно смешно. Тут их вроде совсем не бывает, тем более в это время.

Мама дала им отсмеяться, как маленьким, а потом продолжает:

— Днем работать положено только до двенадцати часов, а потом отдых. Вот и будете здесь, под тентом, а то какой же это отдых, если от солнца негде спрятаться! А так можете занимать-

ся своими делами до шестнадцати часов. Ну, а потом уж до темноты.

— Ура! — кто-то закричал.

— Живем...

А кто-то сказал:

— Славная сиеста.

Мне было непонятно, что за слово такое «сиеста», но, видно, они были довольны, что днем у них такой длинный отдых.

— Но зато утром подъем у вас в половине четвертого, и чтоб как по боевой команде все, как один, поднялись. Завтрак сухим пайком, а в обед уж душу отведете.

Студенты окружили маму, и мы с мамой стояли в тесном кольце, и тут вдруг, совсем неожиданно рядом с нами, заиграл патефон.

Вот это да, вот это был сюрприз! Все обрадовались, захлопали в ладоши, закричали:

— Танцы, танцы!

Смотрим, они наш большой ковер расстелили прямо на жнивье, и патефон прямо на ковре; и одна парочка — две девушки, туфли сняли и танцуют в одних носках. Надо же! Оказывается, студенты привезли с собой даже патефон с пластинками. Веселый народ!

Я знаю все танцы: танго, вальс, фокстрот. И даже название пластинок знаю. Вот то, что сейчас патефон играет, — это «Брызги шампанского». Как же мне не знать. До войны я сто раз слышала эти пластинки, а то и тыщу. Каждый выходной у нас гости были. А как мама с папой танцевали! Когда они выходили, все другие гости останавливались и только на них смотрели. Как папа здорово каблуками прищелкивал или руку поднимет, а мама, держась за его руку, крутится. А музыка какая! «Брызги шампанского», «Дождь идет», «Риорита» или «С утра побрился». У меня аж всегда в носу щипало. До чего же музыка хорошая.

А то иногда папа меня схватит и начнет со мной танцевать, а все хохочут. Хорошо было, весело!

Сегодня тоже очень весело. Только папы нет с нами, и мы не

дома. Но все-таки весело. Нигде еще, ни разу, как война началась, нам с мамой не было так весело.

Смотрю, и мама тоже танцевать пошла. Ее Азиз пригласил. А я к патефону подошла, меняю пластинки. Это я умею делать. Еще до войны уж на что маленькая была и то мне разрешали пластинки ставить. До чего же здорово, замечательно! Такие же пластинки, как у нас дома. А вот «Кукарача», как я про нее была? Я же ее дома больше всех любила ставить.

Было уже совсем темно. Никаких фонарей у студентов не было. Я не могла прочитывать название пластинок. Я просто ставила их все подряд. Все они были замечательные, потому что все они напоминали довоенную жизнь.

* * *

Подумать только! Какие подряд два дня получились! Какое веселье! Кто мог подумать, что мы с мамой очутимся на таком празднике! Это я уже не про студентов говорю, а про другое.

Прибегает на следующий день с утра тетя Таджикихон. А мама, как водится, уже ушла. Тетя Таджикихон и плачет и смеется, ну совсем как будто другая тетя Таджикихон! Палит как из пушки:

— Сын приехал, сын, старший сын, насовсем приехал. Рука совсем нет, оторвали, насовсем приехал. Большой байрам гулять будем. И узбек, и русский — все гулять будем.

Ну, она видит, что мамы нет, но я обещала, что передам маме, а она говорит:

— И ты обязательно приходишь.

Вот радость-то. И я побываю на настоящем байраме.

Вот так мы с мамой вечером пошли на настоящий узбекский большой байрам. Вы бы видели, что за чудо этот байрам. И дело даже не только в том, что еды всякой — ого! И плов, и лепешки горой. А главное, как они все красиво устроили. Как мы вошли с мамой во двор к ним, прямо как в сказку попали. Ей-богу, я такого даже в Большом театре не видела. Кругом фонарики разноцветные и на деревьях даже. Вот это чудо! А посередине двора,



вроде сцены, возвышение такое ковром покрыто, и на ковре стоят всякие вкусности. Гости тут сидят. И знакомых полно! Вот это да! Доктор Юзеф тут и даже Азиз. Выходит, тетя Таджихон совсем не рассердилась на него за паранджу, если на байрам пригласила.

И что бы вы подумали! Оказывается, я знаю дочек тети Таджихон. Они у нас все в школе учатся. Ну, кроме тех, конечно, которые уже большие или, наоборот, совсем маленькие. Мы с мамой стоим, а все нас окружили.

Тут к нам вышел муж тети Таджихон. Мама-то его хорошо знает, он на полях работает, а я первый раз видела, немножко страшно стало. Он говорил что-то по-узбекски, а потом по-русски сказал: «Добро пожаловать», и поклонился нам, а потом сын

подошел, тот самый, который с фронта насовсем вернулся, из-за которого и устроили этот байрам. Он был в гимнастерке и в сапогах, совсем как боец, только вот один рукав гимнастерки у него за пояс заткнут. Он протянул маме левую руку, потому что правый рукав как раз и заткнут за пояс, и мне тоже, как взрослой, пожал руку и сказал:

— Проходите, дорогие гости, друзья моей матери, друзья всего нашего дома.

И мы сели с другими гостями, рядом с Азизом и доктором Юзефом. И доктор Юзеф показывал мне, как нужно есть без ложки, но чтоб не сыпался плов мимо рта, но у меня плохо получилось.

Мы сидим как на сцене. Сбоку от нас арык журчит прохладный, а над нами, на дереве, цветные фонарики и еще персики спелые-преспелые, и один даже упал прямо около меня. И даже музыка есть. Играют вроде как на наших балалайках. До того весело, хорошо.

А доктор Юзеф, видели бы, как он здорово сидит, ноги калачиком, а как он плов берет, ни одна рисинка даже не упадет у него, и не наклоняется, не тянется к блюду, пальцы сложил так горсточкой, как будто посолить хочет и — раз! — в рот, а у меня никак не получается. Ну, он взял тогда пиалу и ложку большую деревянную, как лопатка, и положил мне отдельно, и говорит:

— Вот, паненка Юлия, учись, чтобы следующий раз на байраме ты была как настоящая узбечка... Вы знаете, пани Ольга, я барзо люблю, очень влюблен в узбеков. Когда я только приехал, я не понимал, а сейчас я восхищен ими. Какая культура жизни, как они понимают землю, уважают, так? Так я сказал?

Потом я уже больше их не слушала, чего они там говорили, я пошла к девочкам тети Таджихон и смотрела, как играют музыканты. Один был старый, старый и совсем слепой, зато два других совсем ребята, и они улыбались, видя, что мы их так разглядываем.

Потом нам дали зеленый чай не там, где все сидят, а в другом месте, около арыка, прямо на землю тетя Таджихон положила

кошму. Я так люблю прямо на землю что-нибудь положить и лежать. До войны на даче папа всегда вынесет ковер прямо на траву и ляжет, а я вытянусь, как солдатик, на этом ковре, глаза закрою и катаюсь, пока на папу не наеду, тогда он меня как схватит, вот смеху. Или просто лежим с ним, смотрим, как облака плывут над нами, как они меняются, то барашек, то вдруг королева с длиннющим шлейфом. Мама кричит — обедать, а мы с папой — ну еще минуточку! Здорово было!

Но и здесь, у тети Таджихон, тоже хорошо.

Чай так себе, а вот зато к чаю — сушеные дыни, и абрикосы, и мак, сваренный в меду, и еще там всякая всячина, язык проглотишь.

— Катта байрам, катта! — Это дочка тети Таджихон говорит. — У нас сегодня самый большой праздник. Абдулла вернулся. Хорошо, что ему руку оторвало, а то бы он еще долго не приезжал.

А я говорю:

— Вот моему папе тоже руку оторвут, и он тоже приедет навсегда. И мы тоже праздник устроим и вас пригласим, только готовить мы будем по-нашему, вот чего мы сготовим... И незаметно я переехала на то, какие у нас, в Москве, до войны были сладости, какие пирожные эклер с заварным кремом в Столешниковом переулке и мороженое кругленькое в двух вафлях, а на вафлях написаны имена, какие хочешь. Захочешь и купишь вафлю, где твое имя написано.

— А откуда они знают, как меня зовут? — спросила самая маленькая дочка тети Таджихон.

— А как тебя зовут?

— Гульрухсор!

Я даже растерялась: действительно, я никогда не видела на вафле имени Гульрухсор, и даже не слышала такого имени, и даже не уверена была, что оно поместилось бы на вафле, по крайней мере пятикопеечного мороженого.

Я не знала, что ответить, и сказала:

— Сейчас приду.

Встала и подошла к маме. Она все разговаривала с доктором

Юзефом и даже не заметила, что я тут. Я стою, а она все никак не видит меня, даже обидно. Я дернула маму за руку и сказала:

— Хорошо бы нашему папе тоже руку оторвало, и он бы совсем вернулся. Правда?

Но мама почему-то рассердилась на меня.

Но не все-то другим праздник. И нам достался настоящий большой байрам. Ночью прибежали из совхозной конторы и сказали, что по телефону из города телеграмму передали. Наш папа будет целых три дня в городе, нас к себе вызывает, и даже руку ему не оторвало. Вот это да! Такое даже во сне не приснится!

— Ты рада, мама? Ты скажи, ты просто рада или очень, очень, очень. Нет, не так. «Я рада, рада, рада, очень, очень, очень!» Что там сказано? С двадцать пятого сентября на три дня. Значит, мы завтра уже должны ехать. А как мы поедем, мама? А машина будет? Если не будет, мы и пешком дойдем, правда, мама?

— Правда, правда, дорогая Юлия. Будет машина. Обязательно! Только вот я ехать не смогу. Я Юру вызову. Вы с ним поедете.

— Как же это, мама? Ты что? Ведь папа!

— Да, детка, что ж. А как же на фронте? Если тебе надо фронт держать, ты же не уйдешь, что бы ни случилось. У нас здесь сейчас фронт — уборочная. Тебе я даю увольнительную на три дня. Ты и за меня с папой повидаешься.

Назавтра я не уехала. Мы ждали, когда Юрка приедет со своих курсов. А пока что я целый день ходила и всем рассказывала, что еду в город, что папа приезжает с фронта на целых три дня.

Все жалели маму, что она ехать не может. Мне даже и не надо было говорить: «Мама не может, у нее уборочная». Все сами говорили, как жаль, что у мамы уборочная, она не сможет поехать.

Вере я прямо все уши прожужжала про папу.

Вечером приехал Юрка. Его почти и узнать нельзя было. Месяц еще не прошел, а он вырос как настоящий дядя Степа. И черный как негр.

— Юрка, Юрка, ты знаешь, папа приезжает!

— Знаю, еще там узнал, тетя Оля директору курсов звонила, а то, думаешь, отпустили бы! У нас там тоже уборочная. Мы сейчас и не занимаемся.

— И мы. Только начали — и снова на колоски. Ну, я-то дома была, у меня ноги болели.

— Что еще там с твоими ногами? Старуха ты, что ли!

— Да так...

Прибежала мама и сказала:

— Ну все, договорилась. Завтра утром идет машина в город, вас возьмут. И шофер симпатичный, он вас до самой гостиницы подбросит.

У нас началась такая паника, как будто нам сейчас уже ехать, а впереди еще долгий вечер и ночь. Но мы начали собираться, хотя что там собирать?

Мама вытащила из ящика, с самого дна, мое нарядное голубое вышитое платье и белые кожаные туфли с перепонками.

— Ах, как красиво! Я совсем забыла, что у меня есть такое прекрасное платье... Смотри, Юрка, я похожа на балерину?.. Мама, а туфли жмут, я лучше свои сандалии надену.

— Ничего, потерпишь. Ходить тебе не придется. Туда на машине. И обратно папа уж организует что-нибудь.

До полночи мама возилась с моим платьем и Юркиной рубашкой. Все жалела, что утюга нет и крахмала нет.

— Ну да это пустяки, мама. Если платье совсем не выкручивать, а прямо так из таза и — раз на веревку, оно будет совсем-совсем глаженое. Я покажу тебе, мама, я лучше знаю, как делать.

Получилось, что хоть дел почти никаких, а спать-то некогда. Платье постирали, Юркину рубашку тоже. Ну, надо завтрак готовить, ведь в пять утра мы должны быть уже у конторы.

— А ленточки! Мама, где мои голубые ленточки?

Мы с мамой снова перевернули чемоданы и ящики и все-таки нашли мои голубые ленты.

— Как хорошо, мама, что мы их не оставили в Москве, и правда хорошо, что мы взяли с собой голубое вышитое платье?

Мама вздохнула:

— Лучше, конечно, было бы взять лишнюю пару обуви на вырост. Да кто же думал...

Мы прилегли только на минуточку, и уже пора вставать. Мама сама меня мыла, терла мочалкой. Я стояла прямо на земле, около террасы. Юрка поливал сверху из таза, а мама так меня терла, что я извертелась в ее руках.

— Хватит, мам, больно, холодно!

— Терпи, раз грязи накопила. Пшеницу можно сажать на животе!

Мы с Юркой прыснули.

И вот уже мы около конторы. Машины еще нет, но народу тут полно.

Рабочий день уже начался. Все смотрят на меня, я с гордостью стою и боюсь шелохнуться, чтобы не помять платье.

— Ба! Да что же это за раскрасавица такая, чисто куклу вырядили!

— Агрономшина дочка в город едет, батька их, видишь, с фронта на три дня, а у матери — уборочная.

— Дела-а...

Вот наконец и машина подкатила. Но мы еще не едем. Еще мама долго разговаривает со стариком шофером, не спеша они свернули себе по самокрутке из махорки и, облокотившись на высокую подножку, беседуют как ни в чем не бывало. А тут стой и жди.

Наконец мама подошла к нам:

— Иван Степанович сегодня же вечером едет обратно. Ну как вы?

Она вопросительно посмотрела на нас. Даже Юрка и то возмущился:

— Да что вы, тетя Оля! Это выходит: здрасте-прощайте! Двести километров туда — двести обратно.

— Да, пожалуй, тяжело вам будет сегодня обратно. Но как там все получится, будет ли машина?

— Да чего вы, тетя Оля, что мы, маленькие, что ли? В случае чего, мы с Юлькой и на попутках доберемся.

— Нет, уж, пожалуйста, никаких попуток. Слышишь, Юлька! Да папа все устроит.

Наконец, наконец-то мы едем. Чур, я в кузове! Хорошо прокатиться в кузове с ветерком. А платье! Как же мое голубое вышитое платье! Я и забыла про него.

Сели мы с Юркой вдвоем в кабину к шоферу. Ну да и все равно здорово прокатились! Эх и летели мы! До чего же здорово мчаться, как ветер, на машине. И сейчас, вот уж скоро-скоро встретит нас папа, который приехал с самого-рассамого фронта. Вот это счастье, не каждый день такое бывает!

Быстро мы докатили до города. Прямо-таки почти и не заметили, как отмахали двести километров.

А в городе-то до чего же хорошо!

Вдоль улицы арыки быстрые, прохладные бегут, журчат, а деревья прямо чуть не до неба. Над головой ветками сплелись. И жары-то никакой здесь даже и не чувствуется. Хорошо в городе.

И вот мы уже на площади, вот и гостиница «Центральная», где нас ждет папа.

— Ну что, пацаны,— говорит Иван Степанович,— под расписку вас сдавать начальство велело. Сейчас узнаем, где тут получатель.

— Да неужто это папа? Папа! Папа! Папочка!

Я взлетаю, как и встарь, высоко над папиной головой. Но только совсем не страшно. Нисколечко. И опускаюсь в знакомые надежные руки, и обхватываю папину шею, и трусь лицом о небритую щеку.

— Папочка! Как будто опять до войны, правда ведь?

Что-то еще было. Папа пожимал руку Юрке, и хлопал его по плечу, и пожимал руку Ивану Степановичу, и о чем-то его спрашивал. Но только меня это уж не касалось. Пусть себе разговаривают. Мне разговоров никаких не нужно, я около папы,

прижалась головой к его гимнастерке, а он рукой обнял меня, и все, больше ничего не надо.

А потом мы все пошли к папе в номер. И Иван Степанович тоже, хотя он все время отказывался и говорил, что ему некогда. А папа говорил, что он просто обязан с нами позавтракать, и что какая-то Мария Ивановна уже накрыла стол, и он совсем не задержится.

И правда, на столе чего только не было! И сало, и копченая колбаса. А папа твердил:

— Горячего надо, обязательно горячего. Сейчас кашу сделаем. Ну-ка, Маша, узнай, где у них тут можно приготовить. Это ведь концентрат, одна минута — и каша готова, по-фронтовому. Видите, вот концентрат — гречневая каша с мясом.

А Иван Степанович тоже твердил:

— Не надо, не беспокойтесь.

Папа свое, а он свое. Мне пришлось вмешаться:

— Да что ты, папа! Знаешь, сколько у нас в совхозе каши! Мы ее каждый день едим. Не надо нам каши. Давай нам лучше колбасу.



Иван Степанович очень быстро ушел, хоть папа его и уговаривал остаться. А мы остались, ели и разговаривали. И Мария Ивановна тоже с нами осталась, ну то есть Маша. Она совсем молодая, и у нее даже прически нет, а косы.

— Называй меня лучше Маша, хорошо? — Это она мне сама сказала.

А папа сказал:

— Это, дети, мой фронтовой товарищ, отважный боец Маша.

Конечно, неудобно не оказывать внимания папиному боевому товарищу, но, честно говоря, сейчас было бы нам лучше одним. Как хочется к папе на колени залезть, прижаться к его щеке, а тут чужая, тем более фронтовой товарищ.

А папа все смотрел и смотрел на меня, как будто узнать не мог, и каждую минуту повторял:

— Что это вы, ребята, похудели так, а говорите, каши много в вашем совхозе. Знаешь, Маша, какая Юлька до войны была — щеки сзади видны были. Я всегда говорил, что ее надо посадить в витрину магазина «Детское питание» как рекламу... Помнишь, Юлька?

— Да. А помнишь, как мы с тобой и с мамой на сельскохозяйственной выставке манты узбекские ели? Помнишь? А я теперь знаю, как их готовить, только мяса нет, а то бы сама стоговила.

— А тогда ты есть не хотела...

— Нет, папа, ты не помнишь, я их хотела есть, это я бульон не хотела есть, а манты вы с мамой, наоборот, не хотели мне давать, а я хотела, а мама говорила, тесто толстое, живот будет болеть, ну как же, папа, ты не помнишь! А помнишь, как мы там концерт слушали, еще артист один пел: «Налей-ка рюмку, Роза, мне с мороза...» Ну чего ты смеешься, папа, правда, пел, ну правда, это ты ничего не помнишь, а я все помню...

— Знаешь, Маша, Юля у нас будет знаменитой артисткой, сразу знаменитой.

— И ничего не артисткой. Все ты, папка, перепутал. Я танкистом буду или летчицей, как Полина Осипенко, вот!

— Да, Маша, Юлька у нас бесстрашная, с парашютом прыгала... в парке культуры.

— А ты, папа, прыгал на парашюте? Только по-настоящему, прыгал?

— Нет, Юля, не прыгал.

— Ну, па... па... ну скажи правду, только правду, прыгал?

— Ты же знаешь, Юля, что я танкист...

— А мне Юрка говорит, что на фронте все приходится делать. Вот, когда мне страшно было с окошка в сарай прыгать, где козы...

Тут я увидела, что Юрка мне делает страшные глаза: молчи, мол, да я и сама спохватилась. Зачем я буду папе рассказывать, что мы чужих коз доили, правда? Может быть, все-таки это неплохо, может, меня тогда и на фронт не возьмут.

— Папа, меня на фронт возьмут, когда я уже стану летчицей?

— Ну тогда уже войны не будет. Никогда больше не будет.

— Вот и мама так говорит. А Юрку возьмут? Он ведь собирается ехать, как только ему пятнадцать исполнится!

— Ах вот как, Юра! Ты, оказывается, на фронт уже собрался. Давай-ка лучше договоримся. Пока твое боевое задание — помогать тете Оле и Юльке, а на будущую осень — в военную спецшколу, договорились?

Но Юрка молчит, как будто играет в «ехали цыгане, кошку потеряли»... Глаза выкатил и молчит, а сам красный как рак.

— Ты что, Юрка, скорпиона проглотил, что ли?

А он только мне глазом сделал так — заткнись, мол. Что поделаешь, надо простить его. Ему небось завидно, что не его папа с самого фронта приехал. И мне было бы завидно, и всякому...

Папа видит, что Юрка вроде даже с ним говорить не хочет, мне даже за Юрку стыдно стало. А папа ничего, отвернулся, как будто не видит, а сам, конечно, все видит.

— Эх, Маша, чаю бы! Попробовала бы сообразить, а? Было бы замечательно!

Маша ушла соображать чай, и я, конечно, тут же поняла, что он нарочно Машу услад, я залезла к папе на колени и снова пошел у нас разговор: «А помнишь, а помнишь...»

— Про фронт, папа, расскажи, расскажи, пожалуйста, про фронт! Смотри-ка, Юрка, видишь, орден и еще медаль. Расскажи, папа, за что тебе дали.

— Все расскажу, все. Целых два дня будем говорить. Это так замечательно! А потом я вас отправлю. Ну, а где же наша Мария Ивановна? Подождите, дети, одну минуту. Пойду узнаю, как там с чаем.

Не успел папа выйти из комнаты, как Юрка заворчал:

— Ну вот черт понес этого Ивана Степановича в номер, и дядя тоже хорош! Будет теперь потеха! Разболтает, как пить дать!..

— Что, Юрка, разболтает? В совхозе и так все знают, что папа с фронта приехал.

— «Приехал, приехал». Знают, что с фронта, да не с «фронтным товарищем». Эх ты, недомерок, понимала бы хоть что-нибудь. Тете Оле, матери твоей, отставку дали, а она тю-тю-тю! Эх ты!

— Какую такую отставку?

— А вот такую, самую обыкновенную. От ворот поворот, значит. Теперь у него другая жена. Неужели ты ничего не понимаешь? Никакой это не фронтовой товарищ, это дядина новая жена.

Я молчала, я ни слова Юрке не сказала. Я вдруг поняла, что Юрка прав, что это так и есть. Как же я сразу не сообразила? Вот дура я, дура!

— Пошли, Юрка, сейчас же пошли.

— Куда, Юлька?

— Куда? Конечно, домой, в совхоз, а ты на свои курсы.

Я пошла к двери, но передумала и подошла к окну. Номер был на первом этаже, и ничего не стоило спрыгнуть вниз, в заросли цветущего золотого шара.

— Пошли, Юрка.

— Надо хоть записку оставить.

— Ну давай, напиши скорей. Пиши: «Мы ушли к маме». Пошли, Юрка.

Юрка писал на столе записку, а я уже вылезала в окно, не мешкая, не задумываясь, как будто бы понимала, что если хоть на минуту задуматься, то не так-то будет легко уйти.

— Так, значит! Значит, ты знал, знал, Юрка, и ничего не сказал. Да знаешь, ты кто? Предатель! Предатель, вот ты кто!

— Пстой, Юлька, ну пстой же!

Юрка схватил подол моего платья:

— Пстой же, тебе говорят, послушай!

— Отстань!

Я дернулась, и мое платье, мое самое красивое вышитое платье затрещало, бок повис безобразными лохмотьями.

— Вот видишь, что ты наделала!

— Нет, это ты! Ты, ты! Ты виноват! Зачем мы сюда приехали? Зачем я маму оставила, у нее — уборочная. Она там голодная, ей даже приготовить некому и сапоги стянуть, а я, я...

— Если хочешь знать, тетя Оля все знала.

— Что знала, что знала? Что ты такое говоришь!

— А вот то и знала, что у вашего отца другая жена.

— Да зачем же она нас послала сюда, зачем, зачем?

— Ты что, Юлька, спятила?! Смотри, на улице все смотрят на нас.

— Ну и пусть, пусть смотрят. Зачем она нас послала сюда?

— Ну, тетя Оля, наверно, не думала, что дядя с ней приедет, ну с этой, с Марией Ивановной.

— Сядем, Юрка, давай посидим.

Мы сели прямо на землю около арыка, от моего платья все равно ничего уже не осталось. Молчим, а сами об одном и том же думаем.

Потом Юрка вздохнул и сказал:

— Эх, дядя! Уж лучше бы тогда тетя Оля взяла и вышла бы за этого доктора, он хоть и белорубашечник, но все-таки ничего оказался парень. Ты заметила, как он на твою мать смотрит?

— Что-о-о? Что ты говоришь такое, Юрка? Что ты говоришь? Повтори! Повтори!

Я вскочила на ноги и стояла перед Юркой, сжав кулаки. А Юрка несколько не испугался, как бы нехотя ответил мне:

— Я забыл, с кем дело имею. Связался. Недомерок! Девчонка сопливая. Ничего-то ты еще в жизни не понимаешь! Сядь! — И Юрка больно дернул меня за руку.

Я бухнулась на землю, аж зубы щелкнули.

— Да если хочешь знать, я за твою мать головой, да ты не понимаешь! Я и говорю, лучше бы она за доктора вышла, ведь и он ей нравится, чтоб мне провалиться, а она из-за дяди только вида не показывает. Вот я и говорю...

— Ладно, Юрка, хватит. Не хочу слушать, и все. Говори лучше, чего делать будем?

— Если уж ты ни за что не хочешь возвращаться назад в гостиницу...

— Ни за что!

— Тогда нам надо добираться до той развилки, где мы въезжали в город, и ждать Ивана Степановича.

— Ты просто гений, Юрка, пошли!

Как быстро мы подкатили на машине к гостинице, вроде только въехали в город, раз, два, по одной улице проехали, на другую свернули, и вот тебе — гостиница. А тут! Сколько мы шли, тащились, какие длинные улицы. Когда ехали на машине, каким зеленым казался город, а сейчас! Большие деревья кончились на главной улице, а сады за высокими заборами мы видели только с машины. А так, когда идешь, будто и веточки зеленой в городе нет, только коридоры голые между заборами. Хорошо еще, не заблудились, вышли к той самой развилке. Ну что ж, сядем. Будем ждать Ивана Степановича. Чайку бы теперь попить, который мы так и не попили у папы. Мне доставляло злое удовольствие представлять во всех подробностях, как вернется папа в номер, а нас нет. Сначала, конечно, ничего не поймет, будет искать нас в шкафу, под кроватью, а потом записку увидит... Так ему и надо!



Машины проходили здесь очень редко, и пропустить Ивана Степановича мы не могли. Мы просидели до глубокой темноты. Он так и не проехал.

Я давно уже дремала, положив голову Юрке на колени. В дреме я вела с папой бесконечные разговоры, которых на самом деле быть не могло. Папа плакал, просил у нас с мамой прощения, а я ему строго, без всякой жалости сказала: «Вот получишь еще десять орденов, тогда мы, может быть, тебя простим...»

Вдруг я проснулась от жуткого холода и жуткого голода. Не знаю, что было сильнее. Голод вызывал тошноту и спазм в моем

животе, а холод был такой, что казалось, сейчас пойдет снег. Укрыться было нечем, решительно нечем, ни у меня, ни у Юры не было ни кофточки, ни куртки, ничего. Оставалось прыгать с ноги на ногу, чтоб согреться, да и тут беда — тесные довоенные туфли теперь дали себя знать, вчера я и не вспоминала о том, что они жмут.

— Юрк, тебе есть хочется?

Юрка потягивался после сна, как тощий неуклюжий молодой пес.

— Хм! Еще бы. А кто виноват! Ишь ты! Какая быстрая нашлась! Раз-раз — и в окно. Если ты уж решила смываться, надо было запастись провиантом. Дядя первый похвалил бы нас за предусмотрительность. Еще неизвестно, сколько нам придется добираться.

Говоря все это, Юрка вытащил из кармана брикет концентрата гречневой каши с мясом и еще маленькие кубики сухого какао. Один брикет был наполовину отгрызен.

— Ты-то как с вечера дала храпака, а я заснуть с голоду никак не мог. Не больно-то сытно, да лучше, чем ничего.

Я развернула брикет каши, твердый как камень.

— Ты сначала пососи ее, а то не раскусишь, — посоветовал мудрый Юрка.

— Что же нам делать, Юр, а? Видно, мы прошлепали Ивана Степановича, а может, он другой дорогой поехал.

— Придется идти. Какая-нибудь попутка нагонит, голоснем.

— Не могу я, Юр, идти, туфли жмут.

— Только и всего! Сними их. Иди босиком. Смотри, какая дорога! Пыль какая, как воздух! Я тоже, пожалуй, сниму сандалеты. Пойдем оба босиком. Ну, давай. Пошли, пока не жарко. Вставай.

Я сняла туфли, белые носки аккуратно свернула и положила в носки туфель.

— Дай-ка я перепонку свяжу. Удобнее нести будет.

Мы тронулись в путь. Дорогу спрашивать не надо было, потому что только одна уходила в степь, а две другие шли в объезд города.

Мы двинулись в глубь степи. Впереди, насколько хватал глаз, не было ничего — ни кишлака, ни даже деревца. Чайная у развилки была последним обитаемым местом.

Шли мы, шли, и ни одна машина нас не догнала. Куда они все запропастились!

— Юр, а вдруг нам так и придется идти пешком до самого совхоза? За сколько мы дойдем?

— Ты зря не балабонь, силы эконожь.

Верно сказал Юрка. Силы надо экономить. Мы вначале разбег взяли — Юрка вперед, я за ним. Сколько мы отмахали, уж и не знаю. Я все о папе думала и даже вроде и забывала, что иду. Я ему все объясняла — каким он был для нас. Не то что примером, в тыщу раз больше. Фронтвик, одним словом. А мама! Думаешь, ей не трудно! Мы все переносили, потому что тебе еще тяжелее там, на фронте, а ты вон, оказывается, что надумал. Вон что ты надумал! А о фронте так нам и не рассказал ничего. Все-то мы какие-то пустяки говорили. Надо было, чтоб хоть о фронте он рассказал. Ну, не рассказал, и не надо, не хочу его слушать, не хочу, не хочу...

— Эх, Юрка, дошли бы мы с тобой запросто, да вот воды не взяли.

— Что толку теперь говорить? Все равно взять неоткуда.

— А правда, Юр, пить хочется? Вот теперь сказала и не могу, прямо язык к нёбу прилипает.

— Молчи, терпи теперь. Что-нибудь обязательно будет — или машина пройдет, или кишлак наконец будет. Когда туда ехали, мы их много проезжали, а тут как провалились все.

— Ага. Почему это так, Юрка?

— Помолчи, я тебе сказал.

— Юрк, а я идти больше не могу.

— Это уже что-то новое. Девчоночьи капризы начались. Ты еще поплачь. На кой только я связался... Юлька! Что это с тобой?

Юрка так глаза вытаращил, что мне и самой страшно стало. Это он на мои ноги смотрел.

— Сядем, Юлька. Посидим, отдохнем. Пройдет в конце концов какая-нибудь машина. Не может не пройти! Ты на меня не злись, Юлька.

— А я и не злюсь. Я даже и сама сначала не поняла. Я думала, это туфли натерли.

Мы сидели на обочине дороги. Я вытянула ноги, но смотреть на них было страшновато.

Солнце жжет голову, пить хочется. Сидеть хуже, чем идти. Нисколько даже не отдыхается.

— Пойдем, Юрка, может, машина вовсе никогда не пройдет.

— Да как же мы пойдем, Юлька, нельзя тебе идти. Но вот что. Давай верхом на меня. На плечи садись и держись за голову.

Юрка присел на корточки, и я залезла на него верхом. Он схватил меня за лодыжки, и мы поехали. Конечно, это я ехала, а Юрке-то небось нелегко было.

— Тяжело, Юрка?

— Ничего. Ты мне макушку подолом прикрой, жарко больно.

— Ой, Юрка! Ура! Ура! — Я в неистовстве забарабанила по Юркиной голове.

— Ты что, ненормальная?

— Кишлак, Юрка, кишлак, слышишь!

— Где, где?

Но Юрка его еще не видел. Это я с высоты Юркиных плеч рассмотрела на горизонте, в дымке дрожащего воздуха, пики пирамидальных тополей.

Казалось, что тополя никак не приближаются, даже, наоборот, как будто убегают от нас.

— Может, это мираж, Юрка?

— Какой там мираж? Вон и я уже вижу тополя, просто далеко. На ровном месте горизонт виден не то за тридцать, не то за сорок километров.

— Да что ты, Юрка, ты, наверно, перепутал!

А сама аж замерла от ужаса. Если это так, если надо идти еще тридцать или сорок километров, мы ни за что не дойдем...





К вечеру мы дошли до кишлака...

Я сидела на Юркиных плечах, как на раскаленных углях. Сто раз я порывалась слезть, уговаривала Юрку спустить меня на землю. Но упрямый Юрка мне вообще ничего не отвечал. Он вцепился, как клещами, в мои лодыжки. Мне даже казалось, что если он отпустит мои ноги, он тут же свалится мертвый. Ногой я чувствовала, как колотилось Юркино сердце, колотилось, бухало, ухало, билось о ребра. Это ужасное бухание я стала слышать всем своим телом, как будто Юркино сердце об-

мотало меня всю снаружи, так я чувствовала его стук. Юркина рубашка давно была мокрой от пота, плечи и спина — горячие, как печка. По лицу текли целые арыки пота. Нагибаясь вперед, я вытирала своим платьем Юрке лицо.

Последние сотни метров Юрку стало заносить. Я раскачивалась на его плечах. Я молчала. Не приставала к Юрке, потому что он был прямо как не в себе.

Но вот мы и вошли в кишлак.

Вид здесь у домов неприступный: заборы высокие глиняные, а за забором — тишина. Неприветливо. Страшно стучаться.

Вдруг за одним забором визг начался, как будто поросенка режут. Женщина кричит хоть и по-узбекски, однако понятно, что разговор у нее с сыном серьезный идет, и тут ворота настежь открываются, и



прямо на нас выскакивает пацан лет семи и с ним лохматый черный пес. Пацан как пуля пролетел по улице, и пес за ним. А тут выбегает женщина, в руках у нее прут приличный, кричит что-то по-узбекски, прутом своим вдогонку пацану хлестанула, да только псу по ноге попала. Пес взвыл и дальше побежал уже на трех ногах. А женщина встала как столб. Видно, только увидала нас. Смотрит, ничего понять не может.

Юрка заговорил, я испугалась даже, голос у него совсем пропал, сип один:

— Тетенька, попить.

Она, видно, по-русски ни слова. Юрка поднял мои ступни и тычет ей прямо в лицо молча.

Она что-то затараторила по-узбекски, заходит в свои ворота и руками так делает, нас приглашает войти. Ну мы вошли. Двор у них большой. Везде чистота такая, хоть это и двор, а кругом ни соринки, ни веточки, ни пылинки. Так мы и стоим: Юрка, а я верхом на его плечах. Узбечка что-то говорит быстро-быстро, показывает то туда, то сюда, а мы с Юркой ни бум-бум. Вдруг откуда-то сверху голос раздается:

— Мать говорит, чтоб вы в арыке умыли лицо и ноги, тогда можно в комнату пройти.

Глянула я на голос, пацан тот сидит верхом на заборе. Когда он успел залезть на забор! И как ни в чем не бывало переводит на русский, что его мать говорит по-узбекски.

Мать прут свой подняла и погрозила ему, а он только для виду ногу подтянул, лениво так, видно, уж не боится матери. Знает, наверно, что при чужих пороть не будет.

— А где умыться-то, — сипит Юрка.

— Да вон там под тутовником.

Юрка спустил меня на землю, а сам лег на живот и начал пить из арыка. Потом мы умылись, я ноги опустила в арык, чтобы глиняная корочка растаяла — это кровь с пылью запеклась, ранки-то мои на подошвах разошлись опять.

— Ты не вставай, я тебя отнесу, — говорит Юрка.

Ну отмыла я ноги. Юрка взял меня в охапку, пацан уже тут как тут вертится, показывает, куда Юрке идти.

В комнате прохлада такая, пол хоть и земляной, а такой гладкий, твердый, чистый. Середина вся коврами застлана, а в углу целая гора ватных одеял, и никакого даже дивана, ничего нет.

Хозяйка стянула верхнее одеяло, постелила на пол и показывает — сюда. Юрка опустил меня.

И тут только я Юрке рассказала, что у меня такое с ногами. Ведь он тогда уехал на свои курсы и не знал ничего. Ну он взбесился.

— Жалко, — говорит, — я тогда этому Насыру мало врезал за Демона, надо было вперед чуточку добавить. Ну он от меня не уйдет!

Заснула я в тот же миг и ничегошеньки не видела и не слышала. Проснулась, как будто меня толкнул кто-то и как будто я на секундочку задремала, а, оказывается, уже утро. Прежде всего я увидела два круглых глаза, а потом появился в дверях целиком все тот же пацан и говорит:

— Сейчас мать тебя лечить будет, ты боишься?

— И ничуть я не боюсь, а как тебя звать?

— Умар. Мне семь лет. На следующий год я пойду в школу. А мой старший брат уже семилетку кончил. Он сильней всех, если захочет, всех побьет. А у нас папа тоже на фронте.

Вошла мать и поставила около меня пиалу молока, прикрытую лепешкой, что-то строго сказала Умару, и он покорно вышел вслед за нею.

Ровно через минуту он снова появился в дверях и доложил:

— Мать велела мне караулить попутку на дороге.

— А как ты ее остановишь?

— Как я ее остановлю?!

Умар так спросил, что я сразу поняла, что ни одна машина не пройдет мимо него по дороге, если только он не соизволит дать ей разрешение пройти.

Снова вошла мать Умара, в руках у нее было мое платье, только сейчас я заметила, что я лежу в одних трусах, а платье мое зашитое, выстиранное, ну совсем как новое. Хозяйка акку-

ратно положила его сверх горы одеял, а потом еще потрогала вышивку и сказала:

— Якши.

Я знала, что это по-узбекски — хорошо.

Она снова вышла и снова вошла. На этот раз, ни слова не говоря, она присела на корточки около меня и стала намазывать палочкой мазь на мои ступни. Потом туго забинтовала чистыми плотными тряпками.

В это время вошел Юрка. Я увидела, что рубашка на нем тоже выстирана, и вид у него был тоже как будто выстиранный, не то что вчера.

— Я,— говорит Юрка,— рассказал им, что отец с фронта приезжал, ну а подробности, они ведь только нас касаются, не рассказал. У них отец тоже на фронте.

— Юрка! — только и воскликнула я, показав глазами на хозяйку.

— Она не понимает по-русски.

Хозяйка будто и не слышит.

Молча склонившись, она забинтовала мне ноги и тихо вышла из комнаты.

И тут как раз вбегает Умар и кричит как сумасшедший:

— Машина, машина!

А Юрка кричит:

— Где твое платье, ты что, платье еще не надела, с ума сошла, что ли!

А я-то встать не могу. Тоже кричу ему:

— Вон оно на одеялах, давай скорее!

Снова входит уже совершенно спокойный Умар и степенно сообщает нам:

— Можете не спешить. Мать сказала, будете завтракать. И шофер тоже. Мать пошла за ним.

Вскоре мы с Юркой услышали во дворе узбекскую речь. Важный Умар сообщил:

— Мать говорит, чтоб вы умылись и шли завтракать.

И удалился, полный достоинства.

Юрка вынес меня к арыку и помог умыться, а потом мы се-

ли на суфу, где уже сидел, поджав под себя ноги, немолодой узбек-шофер. И точно так же сидел Умар, а мать подавала завтрак.

Шофер знал уже, что нам надо в Кок-Арал, и сказал, что до самого Кок-Арала он нас довести не может, а до поворота возьмет, а там каких-нибудь три-четыре километра.

— Доберетесь, — сказал он, но с сомнением посмотрел на мои забинтованные ноги.

Юрка бодро ответил:

— Конечно, доберемся. Спасибо вам. Я побольше ее нес.

Шофер виновато улыбнулся и сказал:

— Уборочная.

Мы с Юркой через переводчика Умара передали хозяйке свою благодарность, и не успел Юрка встать, как шофер подхватил меня на руки, и мы тронулись к машине.

Только за нами закрылись высокие ворота, как мы услышали





поросячий визг Умара и крики его матери — нашей хозяйки. Видно, у них все-таки продолжился вчерашний разговор.

...Время и километры летели легко и быстро. Вот вдалеке уж виднеется старая, разрушенная крепость, что стоит по дороге к бахчам, а там и до совхоза совсем пустыки.

И тут вдруг из-за крепости, как жуки, стали появляться машины. Одна, другая, третья, четвертая! Что это? А там дальше еще, еще. Мы мчались им навстречу, не могли понять, что же это такое.

И вот они, нос к носу, с нами. Вот первая полупорка. Над крышей кабины прикреплен плакат: «Хлеб для фронта». А на борту машины мелом написано: «Совхоз «Кок-Арал» сдает государству урожай 1942 года». А наверху, на мешках с зерном, сидят знакомые из нашего совхоза, и гармошка играет «Три танкиста». Вот это да! Наш шофер съехал вбок и остановился.

Мимо нас медленно двигались машины, доверху груженные мешками, и играла гармошка, и машинам не было числа, а потом потянулись арбы с высокими колесами, их тащили маленькие ишаки, а в конце выступали верблюды, и у них между горбами тоже были перекинуты мешки.

Первая машина уехала далеко вперед, гармошку уже не было слышно. Ревели машины, и степь прямо дрожала — так их было много.

Наконец мы пропустили последнего верблюда и сели в машину.

— Молодцы кок-аральцы, — сказал наш шофер. — Сколько хлеба сдают! Весь район говорит об этом.

— Это мама! — не удержалась я. — Это моя мама!

— Так, значит, русская агрономша — это ваша мама? Молодец, молодец, сильно молодец женщина!

Шофер скосил на меня глаза, а я сидела не дыша, и у меня даже в голове стучало от гордости.

— Сильно молодец ваша мама, — снова сказал шофер и добавил: — Пожалуй, довезу вас с братом до дому. Ведь небось нелегко ему тебя тащить, а?

Я промолчала. Но я прекрасно поняла, что он решил довезти нас из-за мамы.

Вот уж мы проехали молочную ферму, вот и контора, вон школа, а там и наш дом.

А около школы что это? Оркестр играет, а народу-то, как в Москве на 1 Мая.

Оркестр настоящий с трубами, а на трибуне люди. Тут машине и не проехать.

Мы остановились. Юрка из кузова вдруг как закричит:

— Смотри, смотри, Юлька, тетя Оля! Куда ты смотришь? Вон на трибуне!

Шофер вынес меня из машины и поднял высоко вверх. У него на руках все так хорошо было видно. Вон мама стоит в своей кепке, а рядом директор, Насыров отец, не буду на него даже смотреть, а вон и Азиз. Не слышно, что там говорят, потому что музыка сильно играет, но зато видно хорошо.

Вот Азиз что-то говорит и руку маме пожимает, и другие все тоже маме руку жмут.

Я трясла за плечо шофера и говорила, не переставая:

— Вон видите, видите — это моя мама.

Шофер, крепко обхватив меня одной рукой, другой отодвигал людей, и мы продвигались к трибуне.

Мы были уже совсем рядом с трибуной. Я видела, как мама смеется, а вот она что-то сказала, и все тоже засмеялись, а вот она сняла свою кепку, волосы ее откинуло ветром назад, а она машет кепкой, машет кепкой нам...

К О Н Е Ц



Новые земли
Александра
Кудова







Мое появление на свет стоило жизни моей матери, и меня воспитывала бабушка. Отец записал меня именем бабушки Саши — Александр. То ли это случайно получилось — просто ему нравилось имя Саня, то ли потому, что он знал, что бабушке придется воспитывать меня.

Получилось так, что бабушке пришлось возиться со мной еще больше, чем мог думать отец и чем вообще кто-нибудь мог думать.

Когда началась война и отец ушел на фронт, мне было семь лет, у нас не было ни одной рабочей карточки, только детская и

иждивенческая, хотя смешно даже сказать, какая же бабушка иждивенка? Кто хочешь иждивенец, только не бабушка. Но уйти на работу и оставить мальчика (это меня) одного дома она не могла, поэтому мы прожили войну без рабочей карточки. И когда вернулся наконец с фронта отец, то бабушка ему крепко-накрепко сказала, что ребенок вырос без масла и без витаминов и что-то надо придумать.

Пока отец думал, тут как раз ему написал один фронтовой товарищ, дядя Николай, звал к себе: он жил в городе на море и работал на судоремонтном заводе. Отец очень сомневался, что же будет с московской квартирой, но бабушка сказала ему: «Что тебе дороже — квартира или ребенок?» — и еще она ему сказала, что настоящий корабельщик должен ходить по палубе корабля, а не по конторским коридорам. И тут он решился.

Нам дали товарный вагон, мы в него погрузили все свои вещи и поехали.

В обычном нормальном пассажирском поезде надо ехать туда два дня, но мы ехали почти что целый месяц; на остановках отец бегал получать по карточкам, а бабушка — за водой и потом покупала лук и картошку, которые выносили продавать к поездам. Меня же не выпускали из вагона. Дело в том, что мы никогда не знали, сколько простоят наш состав, — в нем люди не ехали, в нем везли оборудование, мы были только одни люди во всем поезде. И нас даже один раз заперли на засов, когда мы спали, и мы целый день стучали-стучали, и никто нас не открывал, а потом наш стук услышали нищие мальчишки, которых было очень много по всему пути, и сказали дорожникам, и нас открыли... А бабушка пригласила мальчишек в вагон и усадила вокруг печки (у нас в вагоне была своя печка-«буржуйка»), поставила перед ними кастрюлю с икрой из тушеного лука и дала каждому по куску хлеба.

Когда они поели и ушли, бабушка вздохнула и сказала мне:

— Видишь, тетка, хорошо, что я у тебя есть, а то у отца все время свои важные дела, и ты бы тоже вот так же шастал.

— Конечно, Буля, — сказал я (дело в том, что бабушку я никогда не называл бабушкой, а Булей. Сначала потому что не

выговаривал «бабушка», а говорил «Буля», сокращенно от «бабули», а потом уже мы оба так привыкли, и она меня всегда называла «тезка», а при отце — «ребенок»), — конечно, Буля, — сказал я, — и хорошо, что я у тебя есть, хорошо, что мы друг у друга есть. Мы вдвоем никогда не пропадем.

Это было Булино выражение, она любила его повторять. И действительно, с Булей трудно было пропасть: она умела все на свете и никогда не унывала. И все равно мы чуть не пропали.

Дело в том, что Буля в первый раз в жизни (по крайней мере, в моей) растерялась. А все произошло оттого, что она представляла себе жизнь на море совсем другой, чем она была на самом деле. А когда мы приехали на место и все увидели, то Буля, как говорится, только ахнула.

Наш состав загнали куда-то не туда, и дядя Николай никак не мог нас найти, и отец нервничал, а потом наконец прибежал дядя Николай, и они с отцом стали орать и ругаться — что за беспорядки, и куда это нас к чертовой матери загнали, а потом дядя Николай вдруг остановился посреди ругани, да как засмеется, и схватил отца за плечи, и говорит:

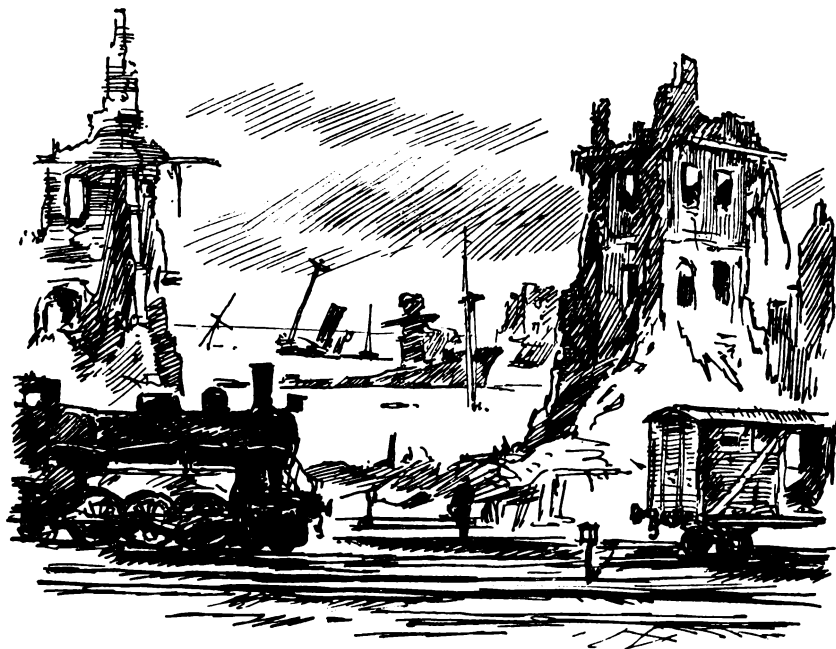
— Что это мы с тобой, Леонтий, в самом деле, это все ерунда, надо смотреть в корень. Давай, — говорит, — знакомь меня со своими чадами-домочадцами, и бежим за машиной.

Бежали они очень долго, чуть ли не до вечера, и Буля уже начинала нервничать и сказала мне:

— Давай-ка, тезка, выйдем с тобой на минуточку, посмотрим на город, не станут же воры в товарный вагон забираться.

Ну мы с Булей вышли, но встали у самого вокзала, чтобы отец нас сразу мог увидеть. Буля как посмотрела на этот город, так лицо у нее такое стало, как будто, по крайней мере, у нее карточки вытащили. Прямо напротив вокзала через площадь стояли три больших дома, то есть только скелеты от домов. И такие все черные. Единственно, что в них целого осталось — так это лестницы. И они все насквозь были видны, и по ним мальчишки носились, в войну, конечно, играли. До нас через площадь доносились: бах-ба-бах!

И Буля сразу стала такая скучная. А мимо шел как раз



какой-то морской офицер. Он остановился около Були и говорит:

— Что, гражданочка, смотрите? Да, это следы войны, с моря прямым попаданием.

Буля ничего не сказала и часто, часто заморгала. А я тогда спросил этого моряка:

— А до моря далеко?

— До моря? Да вот же оно, за вашими спинами.

Я обернулся и увидел, что за путями, за товарными вагонами, торчат какие-то черные палки, и не понял, где же море. Я только подумал, а не спросил, а моряк мне ответил:

— Это мачты затопленных кораблей. Война, кругом война...

И в этот момент у нас над самым ухом грохнула веселая музыка: «Путь далекий до Типерери!..» Моряк засмеялся и сказал:

— А вот это уже не война,— и пошел дальше.

Мы с Булей увидели, что, оказывается, перед нашим носом

что-то вроде террасы, только без дома, а просто отдельная терраса. И там музыка играет, а туда заходят матросы под ручку с девушками, все такие веселые. И Буля говорит: «Это танцплощадка». И тоже повеселела и говорит мне: «Нечего, тетка, нос вешать».

Тут как раз подошли отец и дядя Николай. Отец нам сказал, что с машиной загвоздка получилась, но Николай нас проводит до места — тут недалеко, а он останется с вещами, будет машину ждать. А дядя Николай добавил:

— Мы тут мобилизовали наших хлопцев, так что будет полный порядок, не беспокойтесь.

Мы пошли как раз мимо танцплощадки, и я увидел, что рядом с ней башня стоит такая, ну вроде кремлевская, только без макушки и тоже разрушенная. Я спросил дядю Николая:

— Прямым попаданием?

— Да это ж старинная, можно сказать, историческая, ее еще генуэзцы строили. Ведь наш город когда-то в прошлом был генуэзским портом. Не проходили по истории?

Мы шли по узкой улице, прямо не улица, а коридор какой-то, заборы из камня, а дома внутри двора, их и не видно. Идем, идем. Вдруг забор поваленный, и во дворе бугор такой, весь забросанный землей, да сухая трава торчит. Это, я теперь знал, тоже следы войны. Поднялись по улочке этой в горку, а дядя Николай встал, повернулся и говорит:

— Вот смотри-ка, отсюда город наш как на ладони.

И правда, крыши, крыши черепичные, а дальше внизу, за путями,— море, только оно совсем не синее, а серое, такое же точно, как небо, и даже не поймешь, где море кончается, а небо начинается.

Нам дали комнату в красивом старом особняке. Наверно, раньше там жили какие-нибудь дворяне, но сейчас не позавидуешь — печки в комнате нет, только на кухне, да и то сложенная кое-как. Никак Буля не могла к ней приспособиться, а парового отопления, как в Москве, нет. Ну а в комнате камин с огромной такой дырищей — это пустой номер, дров на него нет. Буля их знает, эти каминны,— они, как драконы, ненасытны. Да еще перед

окнами деревья — солнышко загораживают. Такая сырюга — самое подходящее место, чтоб устроить питомник для мокриц.

И кто это придумал, что здесь зимы не бывает? Ветрище ледяной, а дождь как зарядит — уж лучше снег. Вот тебе и юг!

Прожить здесь без своего огорода и сада было просто невозможно. Правда, у нас появилась рабочая карточка, отцовская, но и есть ведь надо было отцу, не то что мне или Буле. Буля вообще ела очень мало, только чай пила, но зато чай ей был необходим больше, чем, например, отцу суп, а мне сахар.

В Москве-то хоть хорошо отоваривали карточки, и потом Буля меняла. То водку на масло, то папиросы на сахар. А здесь по карточкам ничегошеньки не давали, кроме тяжелого, мокрого хлеба, которого четыреста граммов и не видно даже, а все местные жили с огородами; да еще столько было всякого приезжего народа — они, наверное, так же, как и Буля, думали, что на море и рыба, и фрукты, и дров не надо. А дров-то еще как надо было! Но их не было. Не было, и все.

На отцовском заводе обещали дрова завезти, да всё никак не могли собраться: видно, не хотели из-за нас одних машину гонять. Ждали, когда дом заселится. В нашем доме должен был жить главный инженер и еще кто-то.

Мы с Булей навели уют как умели, вот только лампочка у нас голая висела — наш московский абажур Буля уже давно обменяла мне на валенки. Но какой же может быть уют, если холод собачий? Я весь этот уют обменял бы на хорошую печечку, да еще с полущубочком! Вот где рай-то!

Ну, Буля меня послала на разведку местности — выяснить, как аборигены решают дровяной вопрос. Мне же легче было, чем Буле, завести знакомство. Я зашел в гости к мальчику, с которым мы познакомились на улице около нашего дома, и еще заходил к другому, но ничего утешительного для нас я выяснить не мог. Насчет дров здесь всегда-то туговато было, у местных жителей печечки поставлены в комнатах: хоть соломинками топи — накаляются докрасна, и готовь на ней и грейся — душа радуется. Ну а с нашим-то дурацким камином да с печицей — нам надо, чтоб каждый день паровоз бы дрова подвозил.

Вот Буля и скисла. Я ее такой, пожалуй, и не видел. Первый день мы без супа и без чаю спать легли, во второй тоже, на третий Буля у соседей кипяточком разжилась, а дальше-то что?

Ну я и говорю: «Все, что мы с тобой, Буля, знаем и умеем, здесь не годится. Здесь надо все по-новому, будто мы робинзоны».

Буля сидела, задумавшись, а тут словно ее кто подтолкнул. Она вскочила с табуретки и помчалась и на ходу говорит:

— Ты у меня, тетка, просто Цицерон.

— Ну почему же, Буля, Цицерон?

— Соображаешь здорово!

Я еще сообразить ничего не успел, а смотрю, Буля тащит какого-то мужика. Он в комнату вошел, огляделся, к окну подошел и сказал: «Сюда тягу сделаем». А Буля мне так хитро подмигнула.

А потом этот дядька ушел и долго не приходил, а пришел, таща на плече круглую чугунную печку, «буржуйку».

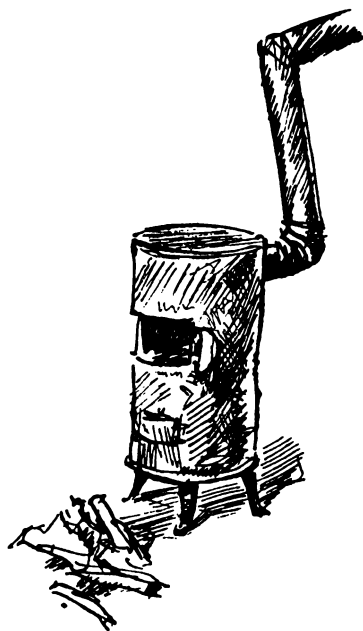
Ну и к вечеру у нас уже стояло главное украшение комнаты — чудо-печечка с длинной трубой, выходящей в форточку, а дядька ушел от нас в парадном отцовском кителе.

— Ну, тетка, вместе отвечать будем перед отцом.

— А мы, Буля, давай ему сейчас не скажем, зачем расстраивать трудящегося человека, зачем ему радость портить, потом как-нибудь.

Буля засмеялась и погрозила мне пальцем: «Ах ты хитрюга! И трусишка к тому же!»

Пока что будущее объяснение с отцом из-за кителя поблек-



ло перед радостями жизни. На печечке варился суп, распространяя аромат жареного на лярде лука, а рядом притулился кофейник с кипятком. Хорошо, что в наших вещах нашелся алюминиевый кофейник, а то чайник не устоял бы вместе с кастрюлей на нашей игрушечной печечке.

На дрова пошли все наши упаковочные материалы: коробка из-под посуды, старые газеты, картонки, оберточная бумага. Но все это сгорало моментально и не разрешало дровяную проблему.

— Надо в подвале посмотреть, что-нибудь да найдется, что горит: если и дров нет, то хоть хлам какой-нибудь, — сказала Буля.

Я спустился на пять ступенек вниз и толкнул подвальную дверь, но она была заперта. Я стал бухать в нее спиной, и дверь затрещала, а из кухни послышался сердитый Булин голос:

— Ты что же это делаешь, разбойник? Казенное имущество ломаешь, хочешь, чтоб нас отсюда выселили?

— Да ну, Буля, замок все равно весь ржавый, не годится, ключом бы его не открыли.

Наконец дверь подалась, и я влетел в подвал. На меня пахнуло запахом сырости, краски, прелой бумаги; в темноте я ничего не смог разобрать, но чувствовал под ногами шуршание большого количества толстой бумаги и сообщил Буле о первых трофеях:

— Кое-что есть, Буля, не зря дверь ломал.

В углу я наткнулся на какие-то ящики, составленные друг на дружку.

— Буля! — радостно закричал я. — Считаю, что дровяная проблема решена, тут до черта ящиков!

Мои глаза привыкли к подвальному полумраку, и я увидел в углу кучу вещей, сваленных на полу в беспорядке.

— Буля! Буля! Скорее сюда. Что я нашел! Здесь клад настоящий. Наверное, дворяне оставили.

— Какой еще клад, какие еще дворяне, — ворчала Буля, но тем не менее быстро спустилась ко мне.

— Посмотри, Буля, чего только тут нет! Настоящий клад!

Первое, что мне бросилось в глаза, — это была деревянная

полированная люстра с матовыми светильниками-колпачками, и такой она мне показалась шикарной, что я решил: не иначе как она украшала дворянский особняк, а когда случилась революция и дворяне бежали за море, они спрятали ее в этом тайнике, чтоб потом воспользоваться ею — они ведь надеялись вернуться.

Я осторожно потянул люстру, чтоб не сломать стеклянных колпачков, и победно представил ее во всей красе Буле.

— Эх ты, тезка! Разве ж это дворянская люстра! Дворянские, они, знаешь, все из хрусталя или, может, даже позолоченные, а это крест какой-то деревянный. Его только мне на могилу водрузить. Знаешь, что это, тезка? Тут немец, наверно, жил какой-нибудь начальственный, бежал, вот и не успел прихватить свои пожитки. Надо разобрать — может, чего и толковое осталось.

Буля оказалась права насчет немца. Мы тут же в этом убедились. В куче хлама я нашел увесистую короткую дубинку из резины с кожаной ручкой (такими дубинками, я знал, орудовали полицаи) и длинную финку в черном металлическом футляре. Только я распустил слюнки на эту финку, как Буля моментально конфисковала ее в свою пользу.

— Ну, положим, это ты не получишь, это не игрушка.

Она вынула длинную острейшую финку из ножен, попробовала ее на большой палец и удовлетворенно кивнула головой — хорошо будет капусту шинковать, а я только с завистью проводил ее взглядом, когда финка убралась обратно в свой футляр, но спорить с Булей не посмел. Но зато меня ждало кое-что другое. Отбрасывая в стороны старые, поломанные стулья и искалеченные электроплитки, я наткнулся на толстенный альбом в коричневом бархатном переплете. Я думал, что это фотографии фрицев, открыл его на середине и ахнул про себя. Это был альбом с марками — толстенный, огромный альбом, и каждая страница заполнена аккуратно вставленными в гнезда марками. Внешне я не показал своего восторга, даже не пискнул. В груди у меня захолонуло. Все перестало для меня существовать. Я прижал альбом к груди и медленно, медленно бочком пошел.

А Буля говорит:

— Что это ты затанцевал, будто конь на цирковой арене, а ну показывай, чего прячешь-то?

Я, так ни слова и не говоря, раскрыл обложку альбома, а на первой странице сплошной Гитлер идет: все заполнено и всё портреты Гитлера — и на сером фоне, и на синем, и на коричневом. И Буля даже плюнула сгоряча и закричала:

— Брось это в печку!

А я и сам немного опешил от этого гитлеробилия, но все же ответил Буле:

— Что ты, Буля, это же он только вначале идет, а дальше... Марочки, может, таких и у испанского короля не было.

Столько у нас получилось всяких сюрпризов, что когда пришел с работы отец, он прямо обалдел: и печка, и суп, и чай, и тепло, и альбом с марками, и деревянная люстра висит. И мы все-таки сразу сказали ему про китель, но он ни капельки не ругался, махнул рукой и сказал:

— Все равно надо будет штатский костюм шить.

Было тепло и уютно, и мы с отцом здорово объелись супом, так что было трудновато дышать, и сидели за столом, и я ему показывал марки. Я видел, что отца не очень-то интересовали марки, и он сказал мне:

— Знаешь, ведь дядя Николай, ну, который нас встречал, он марки собирает и даже на фронте возил с собой маленький альбомчик. Это очень хорошее, познавательное занятие, мы пойдем к нему, он тебе все объяснит, чтоб было на научной основе.

Отец сидел и листал мой альбом, и я видел, что он смотрит так, из вежливости, и еще потому, чтоб меня воспитывать. Так листал он, листал страницы и набрел на такую: сплошь корабли. Ну и марочки! Испанские марки — это такая редкость, с колумбовскими каравеллами, и тут, я заметил, у отца стал совсем другой взгляд. И не потому совсем, что это редкие испанские марки, и не потому, что это колумбовские каравеллы, а потому, что это к о р а б л и.

Отец вздохнул и сказал:

— Сколько ненужной пышности, сколько всяких красот, а тонули как...

Отец не договорил, а я понял еще одно: отец смотрит на колумбовские корабли, а думает о своих — о тех, которые лежат и ржавеют на дне моря, потопленные фрицами, и ждут, когда он их вытащит. Вытащить — это еще что, это еще полдела, а надо, чтобы они стали снова новенькими и более надежными, чем колумбовские каравеллы. И тогда я сказал:

— Папа, а меня возьмешь на свой завод?

Отец как будто проснулся и ответил мне раздраженно:

— Эх, Александр, тебе бы все в игры играть, а ты вот учись давай да бабушке помогай, это будет лучше...

Отец это сказал так просто, потому что не знал еще, как у него будет на этом самом заводе. А то, что я бабушке всегда помогал, он знал это прекрасно. Даже не помогал вовсе, а просто мы с ней делали всегда все вместе, так уж у нас жизнь пошла с самого начала...

Утром, как только отец ушел на свой завод, Буля стала запихивать что-то в нашу большую дерматиновую старую хозяйственную сумку. Все ясно: Буля отправляется менять. Я посмотрел на нее вопросительно — в Москве Буля никогда не брала меня с собой на рынок, она всегда мне говорила: «Этот опыт тебе в жизни не пригодится...» Но тут Буля кивнула мне и сказала:

— Живо пей чай, тетка, пойдем вместе.

Идти до рынка было, по-моему, дальше, чем Колумбу плыть до своей Америки. По крайней мере, он хоть не пешком тащился. Мы тоже могли бы не идти пешком, но когда мы увидели, что делается на автобусной остановке... Штурм Бастилии — это детские игрушки по сравнению со штурмом автобуса номер три, следующего рейсом: Порт — Центральный рынок. И мне было вполне понятно, что скрывалось за Булиными словами: не хочу ли я пройтись пешочком, а заодно и город посмотреть?

Ужасно был унылый этот город, в котором нам предстояло жить не знаю сколько времени. Мы шли по узкой улице все вверх. Колючий ветер обдирает лицо, как наждачной бумагой, а иногда чуть с ног не валил. Мы с Булей вдвоем тащили сумку, а когда останавливались отдохнуть, я поворачивался и смотрел



на море. И что, в самом деле, особенного находили в нем люди, и притом не глупые, всякие там поэты или художники, ну хоть Айвазовский! На нас с Булей, по крайней мере, оно только тоску наводило: грязно-серое, да еще эти торчащие черные палки...

На рынке было очень шумно и было очень много народа. Чего только не продавали! Маленьких кудрявых барашков, ужасно симпатичных; тут же наливали в стаканы вино из огромных бутылей. Но меня мой верный, никогда не ошибающийся нос точно повел в правый угол большой площади. Там на огромном треножнике была водружена такой величины сковорода, что, ей-богу, можно было зажарить любого, самого толстого барана. Над сковородой стоял густой, едкий чад, и сквозь него проглядывало улыбающееся лицо.

— Эй, бабуся, подходи бери, не жалея для внука, вон он какой у тебя тощий. Если не понравится, деньги твои назад верну...

— Почему твои пирожки с собачиной?

— Мои замечательные чебуреки с молодой баранинкой, бабуся, десять рублей за штуку.

— На какой площади поймал ты свою молодую баранинку, не из этой ли компании?

Рядом лежала свора худущих собак, вдыхающих без всякой надежды божественный аромат чебуреков.

— Говорю тебе, бабуся, мои чебуреки из замечательной молодой баранины, а собаки нынче так тощи да так вертки, что смысла нет их ловить, легче барашка откормить, трава не покупная.

Я помимо воли сжимал Булину руку, а продавец чебуреков, видя бабушкину нерешительность, сказал:

— Только для тебя, бабуся, для твоего внучонка, отдаю за восемь рублей. Очень уж ему хочется попробовать моих чебуреков.

И это была правда. Тут уж никуда не денешься, и все это знали. Знал продавец чебуреков, знал я, и знала Буля, и она решилась. Поставила нашу хозяйственную сумку и, вытащив из какого-то таинственного кармана кошелек, отсчитала деньги, а я получил самый хрустящий, самый душистый, самый замечательный чебурек.

Пока я наслаждался чебуреком, Буля разговаривала с какими-то женщинами, две из них подошли с ней ко мне, и Буля расстегнула сумку и стала с трудом вытягивать из нее огромный сверток.

— Ну-ка, тезка, помоги мне.

Я рывком вытащил из сумки сверток и тут увидел, что это Булино пальто, замечательное Булино еще довоенное коричневое пальто с коричневым меховым воротником. Единственная хорошая вещь, которая у нас осталась.

— Буля, ни за что! — Я вцепился в пальто жирными от чебуреков руками и так посмотрел на подошедших женщин, что они попятились.

Буля спокойно положила руку мне на плечо:

— Ну подумай сам, тезка, подумай спокойно. Москва — одно, а здесь к чему мне оно? Куда ходить в таком шике? Все

равно на второй день в автобусе обдерут. Да и потом в Москве — там я глава семьи была, ну и нужно было фамильную честь держать, а здесь перед кем мне фасонить?

Я понимал справедливость Булиных слов, но все-таки не выпускал из рук пальто! Когда мы выходили из дому, я даже не обратил внимание, во что была одета Буля, а сейчас я прямо не мог на нее смотреть, такой она мне казалась жалкой в своем стареньком серо-буро-малиновом жакете. Все-таки я выпустил в конце концов пальто и отвернулся к собакам, не хотел я смотреть, как Булино пальто мерила чужая женщина. Наконец Буля меня весело окликнула, и мы двинулись в обратный путь. Наша большая дерматиновая сумка доверху была набита вяленным судаком...

Как-то через несколько дней отец взял меня с собой на завод. Я ожидал увидеть большие кирпичные корпуса, высокие дымящиеся трубы и был не то что разочарован, а просто-таки сбит с панталыку, когда увидел, что весь папин завод — это несколько больших сараев на самом берегу моря. Я, конечно, ничего не сказал отцу. Я же не маленький и прекрасно понимал, что отца и так мучает, как же они будут чинить корабли. Но отец увидел все-таки мою растерянность и сказал мне:

— Ты не смотри, что пока тут ничего нет. Главное — люди, а люди у нас есть, и еще какие! Один дядя Николай чего стоит!

И тут как раз к нам навстречу идет дядя Николай с какой-то высокой женщиной в комбинезоне.

Дядя Николай такой симпатичный, загорелый, и глаза веселые.

— Знакомься, Леня, — говорит он отцу, — это Ксения Ивановна — наш командир, то есть, бишь, председатель профкома, у нас с ней до тебя важное дело есть. Мы тут с Ксенией Ивановной толковали и решили тебя переселить на природу. А ты как к природе относишься?

Отец только глазами моргал — так его дядя Николай в клещи взял, отцу ничего и сказать не дал, пока все козыри не выложил:

— Знаешь, какое дело, тут еще до войны завод участки давал, ну вроде дачи, что ли. И вот один размахал себе дворец такой, да

не пришлось ему в нем пожить, погиб под Керчью, и родственников никаких не обнаружилось. Ну это и отошло в собственность завода. Завод ссуду давал на строительство. Вот местком решил тебе этот дом выделить, поскольку у тебя сын; ну и вообще, все здесь устроены-пристроены, а ты так долго не протянешь с семьей, а там и огород, можно и яблони...

— Погоди, Николай, погоди, дай мне сообразить.

— Да чего ж там соображать, я тебя вытащил сюда не на гибель же, давай слетай туда да решай. Туда рабочий автобус ходит, там наши многие живут.

— Да мне надо с тещей посоветоваться, она у меня командир.

— Чего там советоваться, дело стоящее. Сегодня же надо провести это дело на завкоме...

Когда я вернулся домой и все рассказал Буле, она только и сказала: «Печку берем с собой, так я им и оставила». «Им» — это, наверное, мокрицам, потому что никого больше в доме не было.

Нам дали дом самый последний в поселке, на горе, а если с горы спуститься, то сразу — море, а с другой стороны — горы. Вы бы посмотрели, что это за дом! Мне он сразу показался парусником: такой вытянутый, фанера, как паруса, а терраса недостроенная — ну точь-в-точь как капитанский мостик.

А Буля как только увидела этот дом, так сразу и окрестила:

— «Приют пиратов».

— Нет, Буля, парусник.

— Какой, прости господи, парусник! Настоящий «Приют пиратов», спяну сколотили: дверь не на ту сторону вывели, а окошко вовсе забыли, и стенку лишнюю поставили, и место такое на отшибе, как раз для пиратов — товар краденый прятать.

— Ну, Буля, что ты выдумываешь?

Тут и отец обиделся:

— На вас, Александра Васильевна, не угодишь: отдельный дом дали бесплатно — попробуйте получите! И участок, можно огород разводить.



— А кто тебе сказал, что я недовольна? Очень довольна! Но вот насчет огорода, это у нас тут вряд ли что получится — вода вся будет катиться с горы, попробуй натаскайся!

— Да, это я не учел, — сказал отец, — ну что ж, дареному коню в зубы не смотрят!

Так с легкой Булиной руки наш дом стал называться «Приют пиратов». Буле так понравилось это название, что она взяла кусок картонки и написала на нем: «Приют пиратов» — и нарисовала страшного пирата с завязанным глазом, а сверху и по бокам украсила вывеску гирляндами цветов и прицепила над

дверью. По поводу этой вывески у нас с Булей произошли разногласия. Я ни за что не соглашался на цветы.

— Сюда надо череп со скрещенными костями, а сюда — кривой нож.

— Еще чего! — возмущалась Буля. — Хватит с меня этой страшной пиратской рожи, чтоб я портила себе нервы, еще люблюсь на череп с костями! Лучше мой глаз будет отдыхать на цветах!

— Ну, Буля, при чем же здесь цветы? Скажи на милость, зачем пиратам цветы?

— Пиратам, может, они и не нужны, зато мне нужны, — проговорила Буля тоном, не терпящим возражений, и я вынужден был согласиться, так как сам рисовать не умел.

Буля же, я забыл это сказать, рисовала очень хорошо и даже в войну подрабатывала тем, что делала вышивки по своим рисункам. Только передвижники не взяли бы ее в свою компанию, потому что она никак не могла понять, сколько я ей ни объяснял, что нельзя на одном рисунке, например, рисовать букет георгинов и корову, да еще георгин у нее получался с корову; или нарисует корзину с цветами, а рядом дом такого же размера.

— Буля, а где же у тебя перспектива?

— А плевать я хотела на твою перспективу, вот захотелось мне нарисовать домик — как приятно было бы жить в таком домике!

И в нашем доме, в нашем «Приюте пиратов», было жить приятно. Совсем не то что в питомнике для мокриц. Жизнь в «Приюте пиратов» пошла совсем другая, веселая пошла жизнь.

Никаких таких богатств не было у нас и в «Приюте пиратов», а проще сказать, ничегошеньки у нас не было. Правда, мы привезли с собой из города нашу печечку, и здесь к тому же оказалась прекрасная русская печка. Но топить, как и в городе, было нечем.

Вещи все мы уже поменяли давно, по карточкам только и давали что хлеб, а еще у нас всего-навсего была сумка вяленого судака да немного толченой кукурузы. Да и дом-то наш, наш «Приют пиратов», весь был разодранный, раздерганный. Стекол

в окнах не было, это уж конечно, да и крыша-то текла, хорошо хоть дожди тут редко, и печку пришлось Буле чинить и ступеньки, да мало ли еще чего. А все равно, хоть убей, здорово нам было в этом доме. Как с первой минуты пошло, так и не останавливалось. Все нам нравилось с Булей: и то, что наш дом на самом краю обрыва стоит, а внизу море, и то, что горы рукой подать, и то, что наш «Приют пиратов» совсем не похож на другие дома в поселке. И заботы-то все для нас с Булей были как будто не всерьез. С самой этой вывески все пошло так, как будто мы с Булей в игру играем. Между прочим, пиратская вывеска дорого нам с Булей стоила.

Вечером приехал с работы отец (на наше несчастье, темнеть уже стало поздно) и увидел на доме этот самый «Приют пиратов». Что тут началось! Кофе и какао, и детский визг на лужайке! Досталось и мне и Буле!



Я оболтус и стоеросовая дубина. Вместо того чтобы учиться... И тут нам нечем было крыть, потому что мы уж неделю как переехали, а я еще не пошел в школу. На Булю же он, конечно, не говорил «оболтус» или «стоеросовая дубина», он вообще Булю очень уважал и, кроме того, никогда не забывал, что она «выходила ребенка», но он здорово рассердился:

— Я просто удивляюсь вам, Александра Васильевна, вы такая умная женщина и подаетесь всеобщей эпидемии бабушек: балуете внука. Вы же видите, что я работаю день и ночь, мне некогда следить за сыном. Почему же вы не проследили, чтоб он сразу записал-

ся в школу, а вместо этого занимаетесь с ним всякой чепухой? Что это за idiotский «Приют пиратов»?! Что скажут соседи! Чему вы учите ребенка? В конце концов это знаете чем пахнет?

Тут взорвалась Буля. Пока разговор шел о школе, она молчала, она была справедливая, и тут мы с ней явно дали маху, но с «Приютом пиратов» она не стерпела.

— Ну, Леонтий, ты превращаешься в старую бабу! Да какое тебе дело, что скажут люди и чем это пахнет! Ну чем это пахнет? А я могу тебе сказать! Если бы мы с Александром не умели многое оборачивать в шутку, то мы бы не выжили в войну, и у тебя бы не было сейчас ребенка.

Тут замолчал отец, и Булин гнев тоже сразу прекратился: она увидела, что задела больную струнку (когда говорили что-нибудь такое, отец сразу вспоминал о матери). Отец встал и начал заводить будильник, а Буля тоже встала и стала заваривать чай — видно, ей хотелось успокоиться.

Так или иначе, мне было ясно, что завтра я иду в школу. Я тоже встал и без энтузиазма достал портфель, потряхнул все, что в нем лежало, на кровать и стал перебирать каждую вещичку — и марки, и значки, и тетрадки. Новых тетрадей не оказалось, я выбрал тетради, где были исписаны только один-два первых листа, и выдрал их: мне хотелось в новой школе начать новую жизнь. К чему тянуть за собой хвост старых грехов, разве новых не будет?

Сложив все в портфель, я вышел к



Буле на кухню: произвести разведку — удастся ли чего-нибудь схватить пожевать. И тут я увидел, что Буля не одна. На табуретке у стола сидела какая-то женщина, а на краю стола стояло два котелка — один с картошкой, один с яблоками. Я сразу оценил это существенное пополнение в наших боевых припасах и сразу же проникся симпатией к этой незнакомой женщине, так как понял, что это принесла она, зачем и почему — не знаю, но она.

Я перекинулся взглядом с Булей, и мы поняли друг друга, и она сказала:

— Вот это мой внук Саня, а это наша соседка, тетя Вера. Видишь, она нам какой подарок принесла на новоселье.

Надо сказать, что картошка — ужасная редкость в этих краях, она здесь плохо растет, и для нас этот подарок тети Веры был особенно ценным. Ведь картошка — это самая наша с Булей любимая еда, а мы ее давно уже не видели.

На следующее утро Буля разбудила меня чуть свет, и у нее уже была готова вареная картошка. Я, обжигая пальцы, в нетерпении чистил крупную продолговатую прекрасную картофелину и, подмигнув Буле, сказал:

— Ну что, живем — не тужим, а?

У Були вдруг, непонятно почему, сделалось сердитое лицо, и она пробурчала:

— Учти, больше картошки не получишь, не думай о ней и не мечтай!

Я что-то ничего не мог понять и даже ничего не стал спрашивать. Но спрашивать было и не нужно. Уже веселым голосом Буля сказала:

— Знаешь, что мы сделаем с этой картошкой?

Я только молча смотрел на Булю.

— Мы ее посадим!

И Буля возбужденно схватила сырую картофелину и с азартом почти что закричала: «Ты только посмотри, тетка, какая замечательная картошка, ведь это синеглазка, самый лучший сорт, но не в этом дело! Ты видишь, сколько у нее глазков и какие они мощные? Я уж все утро изучала ее. Ты представляешь, у нас будет целый огород картошки! Ты это понимаешь?»

А я сказал: «Вот видишь, Буля», как будто бы эта идея пришла мне.

Мне надо было уже идти в школу. Буля наворотила мне с собой целый сверток. Я отказывался.

— Не надо, Буля, я приду — буду обедать.

— Бери, бери, — сказала Буля. — Все на большой перемене будут завтракать, а ты будешь в рот смотреть!

Отец уже уехал с рабочим автобусом. Я вышел из дому. Еще семи не было. Слева над морем, как раз напротив нашего дома, вставало солнце, но оно все было закрыто белым туманом и выглядело как желток в яичнице-глазунье. Я уж говорил, что наш дом стоял почти на самом обрыве, а под ним — море. Я подошел к самому краю обрыва — подо мной был сплошной белый туман, море как будто заложено белой ватой, и из-за этого казалось, что оно далеко-далеко внизу, а поселок тоже был не виден из-за тумана и даже наш дом; и мне уже не казалось, что это вата, мне казалось, что я стою на вершине мира, а подо мной небо, а под ним море и поселок, и море как будто там, далеко внизу. Это было здорово. Так еще никогда не было.

Но уже пора было идти в школу, и я пошел по дороге, повернувшись спиной к морю.

Разговор с завучем был без всяких шуточек. И вот я уже сижу в 6-м классе, ни «А», ни «Б», а просто в 6-м, потому что здесь всего один шестой класс, не то что в Москве. Я там учился в «Г», а в городе в «Б», а здесь мы учимся вместе с девчонками, потому что не только один шестой, но вообще одна школа в поселке.

День прошел ничего себе. На перемене все ели такие же завтраки, как и я, — хлеб с яблоками (как только Буля угадала!). А после большой перемены была химия, и химичка Аннушка (вообще-то Анна Константиновна), классный руководитель нашего класса, спросила, кто я и что, и откуда приехал, и кто у меня родители, и потом сказала, что сейчас у многих ребят только по одному родителю.

А Надья Кочкина, с которой меня посадили, стала мне на ухо шептать песенку, которую они сочинили про химичку



Аннушку, и я прыснул со смеху, а химичка так странно посмотрела на меня и пробурчала под нос: «Что он нашел здесь смешного?»

Да ведь она не слышала, что Надька Кочкина в это время напевала мне частушку:

А химичка в кабинете
Кушает кислоты,
А у Нинки-старосты
Новенькие боты.

Последний урок был история. Историк опоздал. Вошел он, сильно хромя на одну ногу, и потому, что шел очень быстро, получалось, как будто он пританцовывал, но никто не хихикал. Пал Палыч потерял ногу на фронте, и у него был протез.

Пал Палыч мне понравился, да, видно, и ребята его любили: он рассказывал о всяких исторических личностях, как о своих знакомых — к одним он хорошо относился, других презирал, а были такие, которых ненавидел.

После объяснения урока Пал Палыч вдруг сказал:

— Новенький, расскажи нам о себе.

Я так растерялся — уж больно быстро он перескочил от Жанны д'Арк ко мне, и я начал вякать и мякать, а Пал Палыч вдруг перебил меня и сказал:

— Потом расскажешь о себе, сейчас я тебе о нас расскажу.

Я уж совсем обалдел. Больно уж непохож на других учителей Пал Палыч, но мне понравилось.

— Ты знаешь, Кубов, где ты сейчас живешь?

— В поселке Морское, кажется.

— И больше ты ничего не знаешь о Морском, кроме того, что он называется «Морское» и расположен на берегу моря? А ты знаешь, что Морское — это музей.

— Я и не знал, что здесь есть музей.

— Да нет. Ты меня не так понял. Все Морское — музей, даже весь Крым. Нет второго такого места на земле, где бы столько народов оставили следы своего пребывания. Скифы, сарматы, аланы, гунны, греки, итальянцы, армяне, русы.

Человек не может быть культурным, человек не может ничего создать, если он не знает прошлое, не относится к нему с уважением.

Если ты пройдешь с этой мыслью по земле, где ты сейчас живешь, по земле Крыма, и безразличным глазом вступишь в нее, то увидишь историю целых народов, некогда могущественных, ушедших в прошлое. Ты, уж наверное, видел в городе остатки генуэзской башни, а у нас ведь есть целая большая генуэзская крепость, и историки говорят, что это самый лучший памятник средневековья во всей Европе. А в лесу ты можешь встретить обомшелые развалины крепости или монастыря и подумаешь: когда-то здесь была жизнь. Может быть, даже у себя в огороде ты найдешь обломок амфоры, может быть, даже столетия сохранили на нем отпечатки пальцев слепившего ее гончара. Не брось безразлично этот обломок. Бережно храни, собирай, мысли. Ведь каждая находка, даже маленькая, может нам узнать что-то новое о прошлом.

Я так слушал Пал Палыча, как, наверно, никогда в жизни не слушал никакого учителя...

После школы я вспомнил, как хорошо было утром на море, и решил сделать небольшой крюк, чтоб пройти к дому берегом моря. Действительно, здорово было сегодня на море! Что-то я и не замечал, какое оно синее и выпуклое, а может быть, потому, что сегодня первый такой жаркий день и утренний туман совсем

исчез, солнце печет будь здоров. Я снял пальто, хотелось снять ботинки и пройтись босиком по песочку, да тащить в руках не хотелось.

Так я шел себе, как вдруг меня догоняет одна девчонка из нашего класса — она сидит на задней парте, я ее заметил еще в классе, — непохожая на других: молчаливая, длинная, худая-прехудая, а глаза такие синие-синие, как сегодняшнее море.

— Ну, как тебе Гай Гракх?

— Это что еще за Гай Гракх?

— Да наш историк.

— Он же Пал Палыч!

— Пал Палыч, но мы его еще и Гаем Гракхом зовем с прошлого года, когда древний мир проходили. Правда, мировой?

— Железный. А ты здесь тоже живешь?

— Я совсем не здесь. Я — в горах. Наша деревня самая последняя, а там уже начинается заповедник. И дом у нас последний.

— А что ж ты здесь ходишь? Клад, наверно, генуэзский хочешь найти. Небось историк ваш заразил всех этими самыми генуэзцами!

— А ты не смейся! Клад у нас здесь очень просто найти, и находили сто раз. Вот огород копают, вдруг раз тебе — клад.

— Знаешь, а я тоже клад нашел, еще когда мы в городе жили. Самый настоящий, только не генуэзский, а немецкий. Фриц один сбежал и оставил.

— Ну, немецкий я бы даром не взяла, не нужно мне фрицевское добро. Да вообще я кладами не увлекаюсь. Я камни собираю на море. И в горах тоже, но на море лучше, гладенькие, они горят больше.

И она достала из кармана фартука (она была уже по-летнему одета — в одной форме, а я как дурак пальто тащил) горсть камушков и протянула на ладони. Камушки были круглые, гладкие, как будто отточенные, совершенно прозрачные и горели голубоватым огнем. Я так и поверил, что это она нашла сама!

— Ну уж, ну уж! Так я и поверил. У матери небось бусы утянула.

Она презрительно фыркнула и убрала камушки обратно в карман.

— Понимал бы что-нибудь! Да если хочешь знать, это самые плохие, и их здесь полно, глаза бы имел на лбу, а не на макушке.

Она остановилась, и я остановился тоже, и она словно впи-лась глазами в подбегающую к нам волну. И мы так стояли и смотрели как дураки. И я уже хотел плюнуть и уйти — я думал, что она меня разыгрывает, — как вдруг увидел в воде ослепительное голубое сияние. Я заорал благим матом и бросился как есть, в ботинках и не засучив форменных брюк, в воду и, как коршун цыпленка, схватил в кулак это голубое сияние.

— Эх, что там твои камни, вот у меня — это да!

— А ты посмотри, что у тебя, да никогда не смотри над волной, а то, если уронишь, море второй раз не отдаст.

И она потянула меня за рукав дальше на песок, и я с зами-ранием сердца разжал онемевшие пальцы и увидел у себя на ладони большой мутноватый желто-белый камень. Я чуть не заплакал от обиды, бросился к воде, но она меня остановила:

— Нет, это тот самый, просто он в воде так сиял, это — халцедон. Вот я собираю маленькие, они прозрачнее, и поэтому в них голубой свет не только в воде. Но ты не бросай его... Возьми. Смотри, как надо... — Она осторожно разжала мои пальцы, взяла камень и потерла его о свою щеку, и камень заблестел почти так же, как в воде.

— Что ты с ним сделала, — закричал я, — ты колдунья, что ли?

Она засмеялась и закружилась по песку, размахивая порт-фелем.

Мы уже дошли до того места, где мне надо было подниматься к себе домой, и я, небрежно кивнув ей: «Гуд бай!» — полез по тропинке на обрыв, как вдруг остановился и закричал:

— Эй! Как тебя зовут?

— Меня?

Она сделала шага два назад и сказала:

— Джоанна.

— Джоанна? Такого и имени-то нет, ты что?!

— Нет?! Ну, ты серость! Ты что же, не читал «Джека-Соломинку»?

— Ну, знаешь, я уже вышел из того возраста,— это про уголек и соломинку, что ли?

— Эх ты, тундра, а еще москвич! Придумал! Уголек и соломинка! Сразу видно, что ты не открывал историю дальше заданного. Слышал про восстание Уотта Тайлера? Джек-Соломинка был один из его помощников, а Джоанна была его невеста. Хочешь, принесу книжку?

— Тащи. Давай завтра в школу.

Потом дотемна я ходил к колодцу и обратно — таскал воду, а Буля копала грядки, вытаскивала корни и рыхлила землю, и только уже поздно вечером я сел за уроки. Буля зажгла фитилек на моем любимом подсолнечном масле, и я первым делом пролистал «Средние века» и прочел про восстание Уотта Тайлера. Про Джоанну там не было сказано ни слова.

На следующий день я только и думал, как напомнить Джоанне про книгу, да не решался при всем классе подойти к ней. Но это и не понадобилось. Джоанна, подойдя со своей «камчатки», положила мне на парту потрепанную книжку, завернутую в газету. Любопытная Надька Кочкина тут же выставила ушки на макушку — что еще за книжка? — и цап своей ручищей за книжку, а я цап сверху.

— Свои ручки держите при себе, мисс, если они дороги вам как память!..

И я слегка сжал ее запястье, так что она запищала.

На следующем уроке я начал читать так, что учительница даже и ухом не повела; у нас в Москве эта система разработана железно: книга под партой, и в щелочку между откидной доской и партой прекрасно видна одна строчка — прочтешь, и поехали дальше. Этот метод был нов не только для здешних учителей, но и для ребят, и когда Надька Кочкина раскусила наконец, она растрезвонила всему классу. И на следующем уроке (как раз был английский) весь класс поголовно упражнялся в новом методе, причем некоторые за неимением художественной литературы читали учебник.

— Нет, вы сегодня определенно какие-то не такие, — сказала нам англичанка, когда пятый или шестой спрашиваемый попросил повторить вопрос.

Но это все ерунда...

...Вся эта весна для нас с Булей прошла однообразно: я как заведенный ходил от дома к почте, от почты опять к дому, таскал воду уже не в ведре и чайнике, а в двух ведрах, а Буля ползала по-пластунски по огороду, то разрыхляя, то поливая. Но у меня было такое впечатление, что все это зря — я только не хотел огорчать Булю, — потому что на нашей горке вода тут же сползала вниз и земля высыхала прямо на глазах.

— Знаешь, Буля, пожалуй, я последую примеру Фархада и продолблю в горах канал прямо к нашему огороду. А есть и другой способ: сделать огород террасами по примеру японцев.

— Есть еще и третья возможность, — сказала Буля, — придержи язык и работай.

Изредка я выкраивал полчаса, чтобы спуститься с обрыва и побродить вдоль моря. Иногда я встречал Джоанну, и мы ходили вместе и искали камни. За это время я многое узнал о камнях: узнал, что так поразившие меня прозрачные халцедоны — лишь бледные братья царственных сердоликов. И я научился видеть камни не тогда, когда они блестят в воде ослепительным блеском, а когда они на берегу среди других камней, часто покрытые грязью и пылью, и сияние их спрятано, только угадываешь его чуть-чуть внутри.

Один раз шли мы с Джоанной, почти не разговаривая, шли себе и шли. Джоанна время от времени наклонялась и поднимала камушек, вытирала его сначала об рукав, а потом об щеку и показывала мне. Я не собирал камней, у меня было какое-то странное настроение: казалось, что вот-вот сейчас я найду что-то такое необычайное, такое невиданное и неслыханное, и даже внутри как будто звучал какой-то марш, точь-в-точь как бывает в кино, когда что-то должно случиться и по музыке ясно, что вот-вот должно случиться, а что — неизвестно. И несколько



раз у меня ёкало сердце, казалось — вот этот не виданный никем камень; но это оказывался мокрый булыжник, в котором мне почудилось внутреннее сияние, или кусок обкатанного стекла. А когда я наконец увидел его — этот невиданный камень, я так спокойно наклонился за ним, как будто поднимаю какую-нибудь плоскую гальку, чтобы пустить блин. Я поднял его, и зажал в ладони, и немного подождал, когда сердце водворится на место...

Да, это был невиданный камень — сердолик, побольше, чем пятак, и был он формы сердца, но только был не одного цвета: сверху он был нежно-розовый, а потом этот цвет густел, густел,



а снизу такого красного цвета, как загустевшая кровь, и сверху он был совсем прозрачный, а внизу густой такой, и в нем как будто внутри горел свет. А Джоанна только посмотрела на меня, помолчала, а потом сказала:

— Ты какой-то не такой. Почему ты молчишь? Я бы кричала, и бегала по всему берегу, и прыгала на одной ноге, а ты молчишь.

— А знаешь, почему я молчу?

— Ну?

— Я знал, что найду сегодня что-нибудь такое.

И Джоанна не удивилась, она сказала:

— Я это знаю. И вообще верю в то, что находишь такое, когда ждешь этого, а если не ждешь, то и не найдешь. А знаешь, я думаю: когда очень ждешь, глаз становится другим, к нему, наверно, витамины приливают. Знаешь, если очень хочется, можно увидеть сквозь.

Тогда я не задумался над словами Джоанны, а потом вспомнил про них.

Мне надо было уже возвращаться домой, к нашему с Булей огороду, а Джоанна побежала к своим кроликам.

Вскоре на нашем огороде стало появляться кое-что: вылезли кругленькие первые листочки редиски, но я это приписываю не столько нашему труду, сколько тому, что у Були зеленая рука. Это уж известно: все, что она ткнет в землю, у нее начинает расти и цвести, когда у другого, хоть лопни, ничего не получится. Буля в Москве во время войны умудрялась не только целый сад на подоконнике развести, но и опытный участок (у нас даже были огурцы), и мы его называли «уголок юного мичуринца». Один раз во время бомбежки нас так тряхнуло, что вылетели стекла и испортили наш мичуринский уголок. Но лучше об этом не вспоминать.

Факт тот, что мы с Булей все-таки убедились, что солнце здесь южное: не успели мы оглянуться, как наша редисочка стала с ноготь большого пальца, и мы устроили пир. Это до того вкусно, что и не знаю! Красная, сочная!

Буля не разрешала мне дергать редиску, хоть у меня руки чесались. Она, как профессор, заложив руки за спину и нацепив на нос очки, наклонялась над грядкой, высматривая наиболее толстенькие редисочки, — рраз, как зубной врач зуб, но только зубчики эти были что надо.

Как-то вечером — как раз мы с Булей кончили поливать — смотрим, идет отец, но только не один. Я сразу узнал: это та женщина в комбинезоне, которая подходила и разговаривала с нами на заводе, только сейчас она была не в комбинезоне, а в синем костюме, и косынки тоже на ней сейчас не было, у нее были

черные косы, которые были уложены на голове как корона.

— Вот это здорово! — закричал я. — Буля, а к нам гости, а почему дядя Николай не приехал?

Отец говорит:

— Александр, как ты себя ведешь, ты уже взрослый. Александра Васильевна, познакомьтесь, это Ксения Ивановна.

— А я вас сразу узнал, только вы были в комбинезоне...

Ксения Ивановна рассмеялась и подала мне руку, как взрослому, никаких там потрепываний по разным частям головы, и это мне понравилось. Буля позвала всех ужинать, а я сказал:

— Буля, ну скажи честно, ты знала, что у нас сегодня будут гости?

— Нет, не знала, чтоб мне лопнуть, — шепнула мне на ходу Буля.

На столе красовалась наша старая селедочница с розочками, а на ней, лучше всяких роз, так красиво были разложены в середине стрелки зеленого лука, а по бокам горки редисок. Я смотрел на отца, прямо впился в него взглядом и видел, что он чуть не ахнул, когда увидел редиску. Подумал, наверно: «Откуда такая роскошь, ведь первая редиска стоит бешеные деньги?» — но ничего не сказал, как будто у нас каждый день к ужину первая редиска. И мы с Булей тоже ничего не сказали — вытерпели, а потом, когда поели, торжественно вышли из комнаты и повели отца и Ксению Ивановну в наш огород и показали им редиску, и лук, и несколько грядок картошки.

Картошка — это была наша особенная гордость. Буля говорила, что это наш научный эксперимент, мы сажали ее не по



целой картошке, как положено, а так, как мы решили еще тогда, когда тетя Вера принесла эту картошку. Буля разрезала каждую картошку на столько, сколько в ней глазков, и мы всё гадали: взойдет или не взойдет? А она взошла, да такие толстые, мощные ростки, ну как будто мы килограмм картошки в каждую лунку посадили. Буля рассказала про наш опыт с картошкой, а я сказал Ксении Ивановне:

— Вы знаете, ведь у бабушки зеленая рука: у нее все растет.

И Ксения Ивановна проговорила своим певучим голосом:

— Не зеленые вовсе, а золотые руки у твоей бабушки, Саша.

Когда отец проводил Ксению Ивановну, я пристал к нему, очень ли он удивился, когда увидел на столе редиску и лук, и понравился ли ему наш огород. И отец сказал, обращаясь к Буле:

— Да вы действительно молодчина — свежие витамины... Я надеюсь, Александр принимал в этом участие? Трудовое воспитание...

Но Буля перебила — она не любила, когда отца заносило, как она говорила, — и сказала ему:

— Знаешь, Леонтий, сколько сюда вылито воды? Цицерон сбился бы со счета. Ясно, что я не могла таскать.

И отец опустил свою руку мне на голову и шершавыми пальцами стал перебирать мои волосы, а потом взял и прижал мою голову так, что мне всерьез стало больно, но я не пискнул.

Как я узнал, у Були был разработан план секретной военной операции, и она держала его в секрете даже от меня. На следующий день было воскресенье, но отец все равно работал, и Буля попросила взять ее на рабочий автобус (у нее были какие-то дела в городе), а мне велела пуще глаза стеречь наш огород и, конечно, полить его. С поливкой я управляюсь быстро: у меня уже было натаскано порядочно воды — заполнена вся тара, которая нашлась дома, а остальное время я мечтал провести в свое удовольствие. Мне давно уже надо было провернуть одно дельце. Правда, я это откладывал на после экзаменов, но почему

бы не сделать предварительную разведку, если выдался свободный денек?

Отец и Буля уехали, а я не спеша попил чаек с кукурузной запеканкой — вот бы к ней еще вареньица! Но и так неплохо, Буля у нас повариха что надо. Потом так же не спеша полил наш огород и заметил: ростки на картофельных грядках со вчерашнего дня уже стали больше, а огурцы выпустили усики, но все это я делал в предвкушении того, что мне сегодня предстояло.

Наконец с поливкой было покончено, но я не побежал, не поскакал, а, наоборот, как бы между прочим, пошел вразвалочку, захватив с собой лопату, сантиметр, бечевку. А пошел я вот куда.

Но надо рассказать все по порядку.

Еще в самый первый день, когда я только пошел в школу, Пал Палыч что-то вроде целой лекции прочитал про Крым, а главное, он сказал, что вполне даже возможно найти что-нибудь стоящее. Я тогда хоть и виду не показал, но все время думал, а откуда это он так сразу и догадался, что мне как раз это интересно. Ну потом Джоанна сказала, да я и сам узнал, что он всем это говорит, что он вообще почти что помешан на этом.

Ну а тогда мне показалось, что он только для меня говорил, и, честно сознаюсь, так это во мне засело, хоть никогда я не был учительским подпевалой, но тут-то совсем, совсем другое. Все-то ведь другие так себе, несерьезно относились к таким делам. Ну что там, считали — это только для дошкольников, а Пал Палыч такое сказал, что я только об этом и думал. Но никому не говорил. Даже Джоанне. Потому что я привык, что все смеются над этим, а поэтому даже и сам как будто не верил, когда Джоанна мне рассказывала, как у них тут все что-нибудь находят. Но на самом деле это было не по-честному. На самом деле я каждый день только об этом и думал.

Я думал, вполне даже вероятно, что именно наше Морское было когда-нибудь довольно значительным портовым центром, потому что и верно — ведь лучше нашей бухты трудно сыскать: она закрыта выдающимися в море горами от штормов; и, может быть, здесь когда-то стояли парусники с высоко задранными

носами, на которых были золоченые скульптуры всяких там богинь или фантастических птиц.

И еще я все время думал о том, куда же это все подевалось. Мне это дело прямо покою не давало.

Интересная вещь происходит с нами: знаете, когда нам рассказывают, что это история, что это было давным-давно, то из-за дальности времени нам кажется, что и земля была какая-то другая, которая ушла в прошлое, а на самом-то деле (ведь подумайте только!) вот точно на этом месте, на котором я сейчас стою, стоял какой-нибудь генуэзский воин, и ведь стоял-то он не в пустыне — кругом были дома, тут люди жили, и не могло это как ветром сдуть, растаять все не могло, уж конечно, что-нибудь да осталось, надо только поискать как следует; и я так себе это представлял, что прямо чувствовал, что я хожу по сплошному кладу, и я тогда прямо обалдел, когда это придумал.

Джоанна сказала — а она узнала это от Пал Палыча, — что если раскопать какой-нибудь метр (по-научному это называется «культурный слой», а на самом деле просто обыкновенная земля и грязь, которые выросли сверху), то мы можем наткнуться на остатки жизни генуэзцев.

Я все прикидывал: не могу же я один все перекопать, весь поселок, а приглашать к себе в компанию я мог бы только Джоанну (из всех ребят только ей было это интересно), и она бы не подумала смеяться, но она была занята побольше моего — у них был и огород, и сад, и еще кролики; и эти кролики были очень прожорливые, и им надо было каждый день рвать черт те сколько травы, а одного беленького она обещала подарить мне, если мать разрешит.

Так вот, я долго раздумывал, где мне начать свои раскопки, и все обозревал наше Морское и так и эдак — и с горы и с дороги, как полководец местность перед боем. И однажды меня осенило: за нашим поселком, как раз недалеко от нашего дома, проходит глубокий овраг, он идет полукругом, так что почти весь поселок окружает, и вот я подумал, что если полазить по оврагу, да не по дну, а так с метр от верха, то как раз и откроется мне та земля, по которой генуэзец ходил, только разре-

занная, и может, кончик какой-нибудь из нее и выглянет, а я тогда и подкопаю лопатой.

Ну вот наконец и настал денек, когда я смог это сделать. Я пошел в овраг, а надо сказать, он был почти что отвесный, так что ходить по его стенке — почти что по стенке дома ходить. Лопату я наверху оставил, а сам, цепляясь за колючки, смерил от верха метр, вбил туда колышек, привязал бечевку и пошел по стенке, как фокусник в цирке (а бечевка мне нужна была, чтоб отметить то, что я прошел). Вот так ползу, держась за кусты, а земля здесь какая-то непрочная, пыль да мелкие камушки, так из-под ног и выскакивают, того и гляди, вниз кувырком полетишь. Впиваюсь я в землю, аж глазам больно, все потому, что Джоанна мне сказала, что, если сильно смотреть, можно и сквозь землю увидеть. Смотрю, смотрю — ничего не высмотрел, вот уже почти полпоселка обогнул, как раз за магазином ползу; ну, думаю, тут, конечно, ничего нет: может, старый ящик найдешь на дрова — из магазина бросили, и на том спасибо, а не то что древний клад. И как раз, когда я это подумал, смотрю, из земли торчит что-то кирпичного цвета, похожее на цветочный горшок. Наверное, думаю, так и есть: осколок от горшка гераниевого кто-нибудь бросил, он и закопался. И я пальцем расковырял немного землю вокруг этого гераниевого горшочка. Смотрю — большой. Вроде, пожалуй, из-под фикуса, побежал за лопатой, подкопал вокруг, а лопата — звяк! Я, конечно, стал подкапывать пониже, а она опять — звяк! Я еще пониже спустился, пожалуй, что и на полтора метра, и опять то же. Ну, думаю, если это и горшочек из-под герани, то из великаньей утвари, не иначе, а скорее всего, в нем клад лежит, и не иначе как генуэзца, а может, даже какой-нибудь морской пират здесь свои сокровища спрятал. Ну, думаю, тут мне одному не потянуть. Тут надо что-то сообразить, а пока что лучше не раскапывать, чтоб место не выдать.

Я вылез из оврага, почистил брюки и вернулся домой. И как раз в самое время — отец сегодня приехал пораньше, и Буля приехала; и я их встретил полным порядком: огород полит, а я сижу за геометрией.



Я молчал, молчал, но меня так распирало, и я сказал за обедом:

— А я кувшин с кладом нашел.

— Опять клады...— вздохнул отец.— Когда ты повзрослеешь, Александр?..

Но Буля поняла, что у меня что-то серьезное, хоть и вернулась из города расстроенная и злая. И она ни слова мне не

сказала, только посмотрела, и я все выложил: про генуэзцев, про овраг и про великаний горшочек.

— Вряд ли это клад, — сказал отец, — хотя, может быть, что-нибудь интересное. Может, в войну туда население прятало продукты для партизан, а они ночью приходили и забирали — очень удобно пройти по оврагу незаметно. Этим, конечно, следует заняться. Сообщи своему пионервожатому. Это все хорошо. Но меня вот что волнует: тебе, Александр, уже тринадцать почти, а еще не выявилось никаких интересов — математику ты не любишь да и литературу от сих до сих... Пора подумать, что за человек из тебя будет, какую профессию изберешь?

Буля посмотрела на меня так печально, будто они с отцом увидели у меня признаки какой-нибудь страшной болезни.

— Человеком-то он будет, — растянуто начала Буля, — он и уже человек, и талантливый человек, но меня волнует, что талант свой он никак к жизни не приклеит. Ну, хоть бы ты рисовать умел, не в меня... — вздохнула Буля. — А мать так пела хорошо и на гитаре играла, и ведь никто не учил, слух был замечательный... Отец — человек деловой, собранный, а ты что, как твоим талантом хлеб заработаешь? В кладоискатели идти?

— Да это все придурь, обычная у всех мальчишек, только у Александра с запозданием, — сказал отец.

Буля покачала головой:

— Нет, не придурь, одержимый он.

А отец сказал:

— Главная беда твоя, Александр, в том, что разбрасываешься. Увлекался марками. Ну хорошо, познавательное занятие; бросил, начал минералогическую коллекцию собирать — организовал бы в школе кружок, учитель естествознания вам бы помог, вот было бы дело.

— Еще чего, какой интерес будет собирать камни, если все табуном ходить будут. Будут из-под ног у тебя хватать. Нет уж, спасибочки.

— Ну, Александр, как тебе не стыдно, что за кулацкие наклонности! Минералогию, впрочем, ты тоже оставил. Теперь увлекаешься какими-то кладами. По-моему, ты идешь назад,

в детство. Как-то это не серьезно. А я надеялся,— вздохнул отец,— что биологией увлечешься, агрономом будешь, но, оказывается, огород — это для тебя так,— отец помахал рукой у меня под носом,— только лишь средство поинтереснее разнообразить стол.

Я молчал, мне нечем было крыть. Сам я как-то не задумывался, а когда отец сказал, то получилось, что я действительно разбрасываюсь, что у меня как-то все не всерьез.

Однажды, когда Буля приехала из города, открылся секрет ее поездок. Буля привезла в нашей дерматиновой хозяйственной сумке маленького баранчика — представьте, настоящего, живого баранчика...

Буля осторожно вынула его из сумки и поставила на ножки, а ножки не держали его, беднягу, подгибались, и он так смешно качался. Я провел по его густым завиткам и сказал:

— Тебе нечего здесь бояться, Борька, здесь тебя будут любить.

Так у нас в доме появился Борька. Ах, до чего же он был хошенький, когда был маленький, мой Борька, и до чего ласковый и умный! А еще говорят: «Глупый как баран...» Но Борька был не глупый, он был понятливый и преданный.

Экзамены окончились, я перешел в седьмой класс, но ничего особенного в моей жизни от этого не случилось. Мы с Джоанной часто стали ходить вместе: она рвала траву своим кроликам, а я — Борьке. Внизу у моря трава уже стала высыхать, свежая она была выше, в горах, но нам не хотелось забираться высоко, потому что нет-нет и вырывали какой-нибудь часок, чтобы сбежать в Соленую бухту камни искать. А скоро я стал брать с собой Борьку — какой смысл оставлять его дома, то, что я приносил, он почти все съедал вечером. А так он целый день щипал травку, какая ему по душе.

И он ходил вместе с нами и так здорово прыгал по горам и лазил по узеньким тропиночкам высоко над морем, а когда мы спускались в бухту, Борька бродил прямо по воде и ел водоросли,



Борька считал их лакомством. И скоро до того Борька привык ходить со мной, что стал ходить везде: я в магазин — и Борька в магазин, я за водой — и он тоже, а если я вздумаю, например, почитать, Борька не мог это долго выдержать — подойдет и носом меня в бок тычет: хватит, мол, дурака валять, пойдём. Джоанна иногда, чтоб позлить меня, пела песенку:

У нашего Сани был баран,
Собаки он верней:
Куда бы Саня ни пошел,
Борис идет за ним.

А я не злился. Чем, скажите, пожалуйста, мой Борька хуже собаки? Да и Джоанна его любила. Эх, Борька, Борька! Если б я знал тогда!..

Буля тоже очень любила Борьку, но старалась этого не

показывать, она говорила: «Животное должно знать свое место», — но на самом деле ей явно не хотелось, чтобы Борька шел на свое место. Она иногда делала вид, что не замечает, как Борька лежит у моих ног, когда я делаю уроки, а иногда даже, когда мы пили чай, Борьке перепало то сушеное яблоко, то сушеный абрикос, которые он обожал.

Отец тогда недовольно ворчал на Булю:

— Вы умудряетесь даже животных избаловать...

И вот, помню, сидим мы вечером за столом, Борька вертится под ногами, а мы пьем чай, но только у меня он что-то не пьется: в рот наберу, а дальше не идет, как будто поперек горла крышку положили, да еще с острыми краями, режет как ножом, когда глотну. Буля мне и говорит:

— Ты что это, тетка, уж не заболел ли?

— Да, горло чего-то...

— Перекупался, целые дни, наверно, в море торчишь. Нет чтобы хоть книжку в руки взять, вам ведь задали что-нибудь на лето?

Ночью у меня ужасно болело горло, но я молчал, потому что действительно вчера перекупался, и чувствовал, что горло болит всерьез.

Лежу я так, ворочаюсь, и сон не идет. Буля подходила ко мне ночью, лоб пощупала, а я глаза скорей закрыл, как будто сплю.

А рано утром Буля опять подошла ко мне. Я опять глаза закрыл, но она громко сказала:

— Боже мой! Скарлатина. Встань, Леонтий!

Отец соскочил босиком на пол, спросонок понять ничего не может, смотрит как ошарашенный, а мне даже смешно стало, и я сказал:

— Да вы что, в самом деле!

— Так ты не спишь, тетка? Поставь-ка вот градусник... Леонтий, надо бы врача вызвать, а пожалуй, и «скорую помощь». Сомнений никаких нет. Вот смотри, — и Буля стала показывать отцу на мое лицо, — видишь красный треугольник вокруг носа? Это точно скарлатина. Беги в поссовет, звони в город.

Отец засуетился, никак штаны не мог надеть и все на меня смотрит.

— Как же это ты, Александр, а я-то думал, ангина, еще ругал тебя вчера, ты уж на меня, брат, не обижайся.

Мне даже как-то не по себе стало, такой отец чудной, что это с ним — прощения у меня просит.

Отец ушел, а Буля стала мои шмотки на кровать класть, а сама говорит:

— Тебя, тезка, в больницу возьмут, видишь ли, это обязательно: при скарлатине в больницу берут. Подумать только, маленький был — никаких скарлатин, а все же вот не проскочила мимо, но ты, тезка, не печалься, дня три-четыре только неважно будет, а потом карантин будешь отбывать, я к тебе ходить буду. Молочка попьешь тепленького? Ну выпей!

— Нет, Буля, не могу глотать, даже говорю и то с трудом.

А Буля совсем прямо расстроилась.

— Ладно, давай сюда молоко, — прохрипел я.

Пришел отец, а вернее бы сказать, прибежал и сказал, что он с трудом дозвонился и что «скорая помощь» приедет. А Буля ему сказала, чтоб он не нервничал, что это обычное дело — детские болезни, что все дети, какие есть, все ими болеют, и что она сейчас даст ему завтрак и чтобы он ехал на работу, а она отвезет меня в больницу.

Отец сказал, что ни за что и что сам повезет меня в больницу, а Буля ему сказала, что в этом нет никакого смысла, потому что «скорая помощь», хоть она и называется «скорая», совсем даже неизвестно, когда приедет, может, только к вечеру, и что все мужчины — паникеры.

И конечно, все-таки Буля взяла верх, и отец позавтракал и уехал на работу, а «скорая помощь» пришла хоть и не вечером, но все-таки после обеда; и, конечно, врач сказал, что у меня скарлатина, и меня, как раненого, положили на носилки. А Буля тоже села в машину, и мы поехали в больницу.

Няня привела меня в палату и показала на свободную застеленную кровать.

— Вот, сыночек, тебе самое уютное местечко, и смотри не обижай наших — они у нас ослабленные.

Как же, как же, обидишь их! Держи карман шире! Не успела няня ретироваться, как восемь или девять «ослабленных» людоедов — я и глазом не успел моргнуть — вскочили в своих кроватях, перелезли через сетки и повисли на мне, как груши на дереве.

— Эй ты, новенький! В каком классе? Чего принес пожевать? Принес книжечку?

Я стяхнул с себя мелюзгу и сказал:

— В очередь становитесь вопросы задавать. И только в письменной форме.

Я подошел к своей кровати. На первый взгляд будто место ничего: и в уголочке, и тумбочка своя есть, но я сразу разобрался, что к чему, и завистливым взглядом оглядел две кровати у окна.

Палата наша была на первом этаже, да и вообще-то вся больница была одноэтажная, и наши окна выходили в садик, как раз через который надо идти с улицы в больницу.

Ну, что делать! Не безогий, подойду к окошку, если Буля принесет передачу. Окно-то, конечно, было закрыто, хоть и жара стояла на улице, но форточка, такая большущая, открыта, и очень можно даже спокойно разговаривать.

Я заметил, что тапочки были у меня одного: все «ослабленные» стояли на полу прямо босиком, — и подумал, что, наверно, это бы не очень понравилось нянечке, если бы она сейчас вошла. Я сложил свое имущество в тумбочку, а имущество все мое было: зубная щетка, порошок, яблоки и старый календарь, еще довоенный, — ведь отсюда книжки не возвращают обратно. Сюда, пожалуйста, хоть целую библиотеку принеси, а обратно ни одной книжечки не получишь. Так кто же принесет сюда книжки?! Ясное дело! И тут вдруг я услышал Булин голос, да так, как будто она рядом говорит, в этой же комнате. Я оглянулся и увидел Булю у окна, она меня тоже узнала, и улыбалась, и прижала к окошку нос, и делала мне рожи, так что все «ослабленные» надрывали животики. Я подскочил к окошку, а тут — рраз! —



меня кто-то сзади за плечи схватил: я думал, кто-то из ребят, чуть в ухо не двинул, а это, оказывается, сестра.

— А ну-ка, новенький, марш на койку!

— Я только на минуточку...

— Никаких минуточек! А вы, мамаша, — сказала она Буле, — пожалуйста, не нервнируйте больного ребенка. Им вставать не положено. Передачу — в окошечко приемника, о состоянии узнаете в справочном бюро.

Сестра ожесточенно стряхивала градусники и раздавала «ослабленным». Сунув мне градусник, сестра взяла со спинки кровати халат и наклонилась за тапочками.

— Тапочки-то хоть оставьте, как же я вставать буду?

— А вставать тебе не положено.

— А в уборную босиком, что ли, ходить?

— А ты не будешь ходить в уборную, захочешь — вызовешь няню, она горшок принесет.

Я оторопело смотрел на сестру, а «ослабленные» забавлялись. Мой халат и тапочки выплыли из палаты вместе с сестрой.

Я бросил взгляд в окно — Були уже не было: пока мы с сестрой препирались, я и не заметил, как она ушла.

Ну раз так, раз меня лишили средств передвижения, попробую разузнать насчет места у окна.

— Эй, парень, тебе там не дуется, у окна? Не поменяешься со мной? Самое уютное местечко.

У окна лежал толстый парень с хитрой такой рожей.

— А мне, знаешь ли, приятно — свежий воздух. Уф-уф! — И он замахал перед носом своей пухлой ручкой. — Уф! Как приятно! Такой свежий воздух. Знаешь, малец, у меня правило есть железное — ничего не подарю, даром тоже не даю. «Подарить» уехал в Париж, остался один «Купить». Ну, как, сообразил? Котелок варит? Будешь отдавать мне все передачи, которые тебе таскают. Кто у тебя бабка? Не жадюга она? Жрать будет носить? А мать-то будет ходить?

Меня тошнило разговаривать с толстяком Гришкой; я молча встал, собрал свои манатки, свое одеяло и подушку и, зажав под мышкой градусник, двинулся к Гришкиной кровати.

— На вот, лопни, — и кинул ему пакет с яблоками.

А Гришка, нисколько даже не обратив внимания на мой тон, подозрительно проворчал:

— Ничего там не зажал? Ну-ка, что у тебя там?

— Ты, может, зубной порошок кушаешь?

Ну и тип был этот Гришка! Такого поискать. Потом я узнал от ребят, что он не только меня ободрал — это хоть была мена. Оказывается, все ребята платили ему дань за право подходить к окну. А если кто пытался протестовать и не отдавал передачу, Гришка сообщал сестре, что не уплативший дань разговаривал через окно с матерью. А узнал я это так: один дошкольник стал мне совать два большущих персика после того, как почирикал у окошечка со своей матерью.

— Ты что это, парень, раздаешь персики, самому, что ли, надоели или у твоей матери персиковая роща в горах? А может, консервный завод? — А я ничего не понял. Оказывается, это он мне теперь по привычке платил — я же лежал на Гришкином месте.

Но это все потом. А сейчас пришла сестра и, увидев перемену, окинула нас таким взглядом! И уже раскрыла рот, чтобы исторгнуть нравоучение. Ну, думаю, сейчас будет Ниагара, как вдруг она рот закрыла, подошла ко мне и как-то странно на меня уставилась.

— А ну-ка,— говорит,— давай сюда градусник: допрыгался, молодчик, сорок один и восемь.— И сестра быстро вышла из палаты.

«Ослабленные» все притихли, и только толстый Гришка пробубнил из своего угла:

— Чур, уговор в`силе, передачи мне. Какое мне дело, если ты не можешь пользоваться моим окном, сам виноват, допрыгался.

Скоро послышался топот ног, и в палату почти вбежала сестра, а за ней целая свита, и все устремились ко мне. Что они, в самом деле, всерьез, что ли! На мою кровать присел такой симпатичный молодой парень, а из-под халата у него вылезала гимнастерка — это и был мой доктор. И, взяв меня за руку, спросил так серьезно:

— Ты что же, дружище, нас всех заставил в панику вдариться? Нельзя, брат, дисциплину нарушать. Лежать, пока не скомандую «вольно», договорились?

И хоть доктор, как и сестра, тоже мне приказывал лежать, но почему-то его мне хотелось слушаться, и даже было приятно слушаться, и я ему кивнул.

Доктор слушал меня трубкой, и выстукивал, и смотрел горло, и потом, осторожно покрыв меня одеялом, как будто я стеклянный, сказал:

— Ну, я думаю, на тебя можно положиться, ты ведь, кажется, старший в этом подразделении. Ну, дружище, до завтра, а если ночью что будет не так, зови сестру, только не вставай — вот тебе звонок.

И он взял с тумбочки стакан с чайной ложкой и постучал ложкой о стенку стакана.

— Вот видал?

Доктор встал и сказал сестре Тамаре:

— Завтра к самому открытию идите в горадрав и требуйте пенициллин. Если откажут, бегите за мной.

И еще чего-то они говорили, но я уже не слушал, у меня вдруг ужасно заломило голову, как будто я трахнулся с лестницы, и заболели глаза. И доктор, и сестра Тамара, и нянечка, и все «ослабленные» как будто плавали в тумане, и я, кажется, заснул. Ночью я то спал, то не спал. Помню, что заходила сестра Тамара и зажигала свет, а у меня голова проваливалась все время вниз, а большие пальцы на руках стали большими и толстыми, и больше ничего не помню. Да помню еще, что мне приходили делать уколы, а я удивлялся: только что был день, а сейчас уже ночь и так, оказывается, прошло несколько дней, но больше я о них ничего не помню, так что и рассказать не могу.

В один прекрасный денечек — да, это был распрекрасный денечек — лежал я с закрытыми глазами, но вдруг почувствовал, что это я так просто лежу с закрытыми глазами, но не сплю и чувствую, что все у меня на месте: и голова не валится и пальцы нормальные. Только я хотел открыть глаза, как вдруг слышу голос Були, и вроде над собой:

— Он еще спит.

А я думаю, что это: или Буля мне приснилась, или, наоборот, приснилось, что я болел и в больнице? Я с опаской открыл один глаз и — что же вы думаете! — увидел у окошка Булю и Джоанну. Они обе смотрели на меня и сразу заметили, что я открыл один глаз. Я открыл другой, а Буля схватила Джоанну за руку и закричала:

— Смотри, смотри, Аня, он, хитрюга, притворяется, он же совершенно здоров, чтоб мне лопнуть, здоров как бык!

Но Джоанна уже видела сама, смотрела на меня и улыбалась, как будто получила пять с плюсом по геометрии. Она сделала какой-то непонятный жест рукой, и вдруг исчезла — это она присела на землю, — и тут же снова поднялась, и поставила на подоконник коробку из-под ботинок, и стала развязывать шнурок. Вся палата смотрела: ребята думали, наверно, что мне купили новые ботинки... Но я-то знал, что Джоанна не такая,



не станет она возить в коробке из-под ботинок ботинки, но даже и я этого не ожидал: Джоанна открыла крышку и вытащила из коробки кролика. Ну что это за кролик! Белый, с серыми пятнышками, а глаза не какие-нибудь красные, как у белой мыши, а фиолетовые.

— Это Морис, он умеет стоять на задних лапках и барабанировать. Он твой, Саня.

Вся палата обалдела от такого. Все ринулись к окошку, засвистели, закричали «ура», так что я вынужден был вмешаться:

— А ну, ослабленные! Что, захотели, чтоб Тамара явилась?

А Джоанна поставила кролика на задние лапы, а передними он уперся в стекло, и смотрел прямо на меня, и дергал носом, и шевелил ушами. Вот это да! Мой Морис!

— Подожди, Джоанна!

Я слез с кровати на пол, залез в тумбочку, достал одну коробочку, которую запрятал за всеми шмотками и никому не показывал, и кинул ее в форточку, а Буля стала стучать мне в окошко, чтоб я скорей ложился. Но я и не собирался разгуливать: мне, слава богу, этого не требовалось — ведь моя кровать стояла вплотную к подоконнику, и я сказал Джоанне:

— Не открывай коробку, дома посмотришь.

А Джоанна покраснела, наверное, от удовольствия; как она, скажите, догадалась, что в коробке тот самый сердолик? Буля взяла у Джоанны коробку, я испугался, что она откроет ее. Но, оказывается, Буля боялась, что Джоанна заразится от меня, и сказала Джоанне:

— Коробочку придется сжечь, а то, что там, вымоем дома одеколоном.

Ну, Буля, дорогая Буля, она никогда не сделает того, чего не надо! И я впал в телячий восторг и стал прыгать на кровати и молотить подушку, пока не вошла сестра Тамара, и всем попало.

Кролика водворили обратно в коробку, и Буля с Джоанной быстро-быстро ретировались, а мне было море по колено, и я закричал во весь голос:

— Буля, приходи завтра и принеси побольше поесть!

Ну и аппетитик прорезался у меня, я вам доложу, с тех пор как я стал поправляться. Я даже вспомнил толстого Гришку (он выписался в те дни, когда у меня была температура) уже с некоторым пониманием. Я только что дань не собирал с «ослабленных» за право подходить к окну, а так аппетит у меня стал такой же, как у Гришки.

И Буля приходила и завтра и послезавтра и приносила мне жареную картошку с котлетами (доктор сказал, что сейчас меня надо питать) и даже пирожки с мясом! Подумать только, пирожки с мясом! И я стал толстеть не по дням, а по часам, так что, когда я утром умывался, я не узнавал себя в зеркале. Ну и портрет!

Как-то в воскресенье пришел ко мне отец с Ксенией Ивановной. Она принесла мне целую плитку шоколада «Дирижабль». Но из этого вышли одни неприятности: нянечка принесла передачу, а сестра Тамара увидала у меня на столе шоколад, честно разделенный на восемь частей, и выбежала как ошпаренная, и привела с собой доктора. Доктор сказал, что нам никому есть шоколад нельзя, а то будет осложнение на почки и нас еще придется держать в больнице.

Она завернула разломанные кусочки в серебряную бумагу и сказала:

— Пока я забираю к себе, передам твоей бабушке.

Доктор ушел, а сестра Тамара еще долго бушевала и кричала на нянечку Симу и проехалась насчет некоторых родителей, которые даже не знают, какую диету можно их детям. Я-то ничего, а некоторые дошкольники даже распустили нюни, что отобрали шоколад, и нянечка Сима ходила с заплаканными глазами.

Настал наконец день, когда мы с Булей возвращались домой. Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали раньше, что и я стану «ослабленным». Я еле-еле дотащился до автобуса, и даже пришлось отдать узелок со шмотками Буле. Меня качало и бросало, как на палубе парусника в девять баллов.

Вот мы и в нашем «Приюте пиратов». Мне казалось, что я, по крайней мере, год не был дома, и я первым делом бросился к сарайчику, где мы запирали Борьку. Но я увидел, что дверца сарайчика открыта, и в ту же секунду услышал какой-то странный, сдавленный звук, оглянулся и увидел, что Буля держится одной рукой за калитку,



а другой — за левый бок, а мой узелок со шмотками валяется на земле.

— Буля, ты что?!

Я подскочил к Буле и увидел только, что у нее какие-то странные глаза, я таких у нее никогда не видел; и я положил ее руку себе на плечи, а сам схватил Булю покрепче, и так мы дошли кое-как до двери, а там еще долго возились с ключом, и наконец я Булю довел до ее кровати и накапал капель, которые она велела. Эти капли были новостью в нашем доме. Я, конечно, сразу понял, что Борьки нет, что Борьку зарезали, и с ужасом вспомнил котлеты и пирожки с мясом, которые встречались бурей восторга всей компанией «ослабленных» (Буля никогда не приносила мне одному). И я ел эти пирожки, и ничто не шевельнулось во мне!

Но Буля, как она могла? Она ведь так любила Борьку! Тут я вспомнил и другое. Вспомнил непривычно грустный и усталый Булин вид, когда она стояла у окна; вспомнил, как она шла сегодня к автобусу; вспомнил ее глаза, когда она закричала. И вдруг я все увидел по-другому: мне показалось, что все, что случилось в последнее время, быстро-быстро прокрутили перед моими глазами. И я увидел уже как будто все другое и заново вспомнил, как один раз Буля пришла и долго не могла отдышаться: оказалось, что она шла половину дороги, десять километров, пешком, потому что автобус испортился в дороге, а «попутки» не взяли ее, но тогда я на это не обратил внимания — Буля принесла целую сумку пирожков, мы все накинулись на них, и я просил Булю завтра опять приехать и привезти печеное яблочко.

Я все это вспомнил и глотал слезы: она же из-за меня, из-за меня это сделала! Из-за того, что доктор сказал, что меня надо питать. Я повернулся к Буле и сказал ей:

— Буля, я все знаю, только больше не готовь мне ни пирожков, ни котлет, пусть отец ест, он мужчина, а мы с тобой будем как раньше.

И Буля заплакала, а я так растерялся — я никогда не видел, чтоб Буля плакала, — и молчал.

А потом приехал с работы отец. Он был таким веселым и молодым, все время смеялся и поднимал меня за локти, загадывал загадки, говорил, что все на заводе передавали мне привет и что дядя Николай велит мне ни в коем случае не бросать марки.

И мне тоже было весело. Буля встала, и мы с ней забыли о сегодняшнем и радовались, что я наконец дома, и отец вспомнил, как я всех перепугал и как он бегал вызывать «скорую помощь».

Через несколько дней у меня был день рождения. В этот день у нас с Булей всегда было заведено так — гостей мы не звали, ведь это не только мой день рождения, но и день смерти моей матери, а Булиной дочки, но Буля всегда готовила мне что-нибудь, что я люблю. Помню, один раз, когда совсем уж ничего не было, Буля накопила корок от белого хлеба и на мой день рождения сделала из них шарлотку, а сверху полила ее таким сладким, как патока, лекарством от печенки, которое получила в аптеке соседка.

Но на этот раз Буля сказала, чтоб я обязательно позвал Джоанну (Буля называла ее Аня или Анюта). Я был уже незаразный и через неделю должен был идти в школу.

Я пошел к Джоанне нарочно, когда она была в школе, и подсунул под дверь записку: «Приходи завтра в 16.00. Будет настоящий пирог. С.».

Еще утром, как только я проснулся, я увидел над своей кроватью картину. И это была не просто картина, а настоящее приключение: здесь был прекрасный парусный корабль, и на нем стояли рыцари в доспехах, и возвращались они, совершив великие открытия, и на носу стоял капитан (это, конечно, был я), а на обрыве (это, конечно же, наш обрыв) стоял прекрасный дворец, и принцесса, немножко похожая на Джоанну, держала под уздцы прекрасного белого коня в серых яблоках, конечно же, мне в подарок. И еще шла большая надпись: «Возвращение в родной дом знаменитого капитана Александра Кубова, после того как он совершил путешествие вокруг света и открыл новые

земли. В день рождения дорогому тезке от бабушки Александры!!!»

Я лежал, блаженствовал в своей постели, и рассматривал картину, и вдыхал аромат печеного теста и яблочного повидла, когда Буля заглянула в комнату, и я соскочил, и бросился ей на шею, и стал ее мять, и тормошить, и слегка поддавать кулаками.

— Буля, когда ты успела нарисовать, а я ничего и не видел!

Буля освободилась от моих объятий и торжественно, по всей форме поздравила меня с днем рождения, а потом велела быстро одеваться — завтрак уже на столе. Я на бегу натянул шмотки и выскочил на кухню — конечно, на столе были горячие лепешки и яблочное повидло. Буля!

— Ну, немножко теста осталось от пирога, вот я тебе сделала лепешек.

Мы с Булей позавтракали: она пила чай и съела всего пол-лепешечки и ни за что больше не хотела, а я хватал, обжигаясь, горячие лепешки, мазал их яблочным повидлом и запивал чаем.

А потом мы занялись делом. Я вымыл пол во всем доме, подмел во дворе и сложил всю ботву на огороде в одну кучу, и тут как раз настало шестнадцать ноль-ноль и пришла Джоанна. Она принесла мне Мориса в маленькой хорошенькой клетке с ручкой, так что ее очень удобно было носить всегда с собой. Почему-то она догадалась, что у меня день рождения, и поздравила меня, и мы дрессировали вместе Мориса, а потом Буля позвала нас пить чай с пирогом. Пирог был такой вкусный, и было так весело, я повел Джоанну смотреть Булину картину, и мы все решили, что Морис немножко похож на коня — у него такие же серые пятнышки.

А потом Джоанна рассказывала школьные дела и еще рассказывала потрясающую новость: когда я болел (почему-то все случается или когда болеешь, или когда уедешь куда-нибудь), в наш поселок приезжали археологи. Археологи — это такие специальные историки, которые только ищут старые клады и не обязательно там что-нибудь ценное, а вообще все старое. Даже

откапывают иногда целые дома, а по этим вещам все историки догадываются, что раньше было. Так вот эти археологи из Москвы, они потом еще приедут и будут искать клады по-научному. Мы с Джоанной говорили, что как было бы здорово, просто замечательно, наняться к ним в кладоискатели, и они сначала не будут брать, будут говорить: «Пойдите еще поучитесь, а какие у вас отметки?»

А тут мы (ты только представь, Джоанна, — раздумывают они, брать нас к себе или не брать?), а мы с тобой идем, тихонько откапываем тот слоновий горшочек с кладом и вдвоем еле-еле тащим прямо к начальнику: «Это вам подойдет?» Ну, у того глаза на лоб выкатились! Он всех зовет: «Вы только посмотрите, какой клад нашли эти товарищи! Придется их сделать главными кладоискателями!»

Мы были счастливы, да, мы были по-настоящему счастливы в тот день. Но в какую-то минуту тень набежала на глаза Джоанны.

— А знаешь, Санька, мы, может быть, уедем... навсегда...

— Куда же?

— На Урал.

И Джоанна стала мне рассказывать, что здесь они живут у бабушки — папиной мамы, и мама с ней часто ссорится, а у нее есть другая бабушка — мамина мама, и она зовет их к себе, и что сначала мама не хотела ехать, потому что все ждала папу. Он же пропал без вести на фронте. Но теперь он уж, наверно, не вернется, и мама говорит: поедем к той бабушке... Я слушал Джоанну, но смысл ее слов не доходил до меня или, скорее, был где-то в таком отдалении, как, например, конец света или моя собственная смерть...

Скоро приехал отец и тоже привез мне подарки. Во-первых, шоколад «Дирижабль» от Ксении Ивановны и два чудесных альбома для марок, такие небольшие, удобные — это уж он от себя.

И снова мы пили чай с остатками пирога, сначала, конечно, отец ел суп, и отец был такой веселый и задавал мне армянские загадки, а я ему сказал:

— Я тебе тоже загадаю армянскую загадку. Что такое: белое в серых яблоках и прыдает ушами?

Ну и отец сказал:

— Конечно же, конь, больше некому быть.

А я с радостью закричал:

— А вот и нет, вот и нет, это Морис!

А отец говорит:

— Так, наверно, зовут коня?

Мы с Булей посмотрели друг на друга и засмеялись, и тогда я побежал в комнату и полез под кровать, и достал клетку с Морисом, и показал его отцу, и нам всем было ужасно хорошо. Отец посадил меня, как маленького, к себе на колени, и положил подбородок на мое плечо, и крепко, как клещами, обхватил так, что я не мог встать, и вдруг спросил:

— Александр, ответь мне, как мужчина мужчине, ты не будешь на меня сердиться, если я женюсь на Ксении Ивановне?

Я так был поражен, что прямо-таки обалдел. Мне и в голову не приходил такой вариант. Но Буля почему-то совсем не была удивлена, и она просто-таки спасла меня, потому что я сам слова не мог из себя выдать, как будто язык проглотил.

— Что ты, Леонтий, обижаешь сына таким вопросом, и он, и я, конечно же, мы будем очень рады: Ксения Ивановна очень милая женщина, и ты заслужил свое счастье, а Александр уже не ребенок.

Первый раз Буля сказала, что я уже не ребенок; ну конечно, мне сегодня исполнилось тринадцать лет.

Это сообщение отца меня совсем сбilo с панталыку. На следующий день я ходил как потерянный. Не знал, за что взяться. Не могу сказать, чтобы оно меня расстроило. У меня не было ничего похожего на ревность к отцу или на недоброе чувство к моей будущей мачехе, Ксении Ивановне. Скорее, какое-то неясное предчувствие перемен тяготило меня. Я это не понимал и не мог выразить. Одним словом, я места себе на находил. Как будто бы вчера с днем рождения ушла какая-то пора моей жизни и должна начаться другая, не знаю пока какая. Мне ужасно хотелось поговорить с Булей, но я не знал, с чего начать, да и не



знал, о чем точно я хотел спросить. Я подходил к ней, мешая работать, как маленький, начинал целовать или терся щекой о ее щеку. Таких телячьих нежностей давно уже между нами не водилось, и Буля, конечно, поняла, что у меня на душе (она всегда все понимала), но ей не нравилось, что я так раскис.

— Мне что-то кажется, тетка, что со вчерашнего дня ты впал в детство. Тебе самому так не кажется?

— Ох, Буля, сам не знаю, что со мной делается!

— Зато я знаю и прямо тебе скажу. Выходит, я зря вчера отцу сказала, и выходит, что ты действительно его не понимаешь!

— Да нет, Буля, не в этом дело. Останется ли у нас с тобой все так, как было?

— Глупенький ты! Кто же нам помешает? Да еще лучше будет. Нам с тобой хорошо, конечно. Ну а будет еще лучше. Скоро не так все будет. Скоро уж времена наступят полегче, отец не будет так много работать. Будет нормально домой приезжать, и будет у нас в доме настоящая семья, веселье, довольство, будут приезжать друзья. Тебе будет веселей. А что все со мной... Какой я тебе товарищ, я же старая!

— Ты старая?! Буля, ты не придумала еще чего-нибудь смешнее?

Буля вдруг стала очень серьезная и даже немного печальная.

— Совсем даже не смешно, тетка. Ты должен больше дружить с отцом. Ты же знаешь, какой он хороший и как тебя любит. Ну а если иногда кой-какие пустяки не поймет, так ты его должен понять — большими делами он занят всю жизнь. Война, тетка... Отвык он от тебя немножко. Да и когда было привыкать-то? А ты, тетка, сам ему навстречу пойдешь...

В этот день, хоть мы и не договаривались, Джоанна опять пришла ко мне. Она принесла мне уроки и еще кое-что, что меня страшно обрадовало, — книжечку по археологии.

— Гай Гракх дал. Знаешь, у него их как много! Целая стенка, всё полки и полки, и почти всё по археологии. Только он сразу по две не дает.

Мы рассматривали в книжке картинки. И она обещала оставить ее мне почитать, хотя и сама еще не прочитала. И я оценил

всю жертву Джоанниной дружбы — ей ведь тоже было интересно прочесть эту книжку.

И наверно, из-за этой книжки по археологии или из-за того, что мне хотелось удивить Джоанну, но только я больше не мог уже терпеть со своим слоновьим горшочком. Как только ушла Джоанна, я натянул шаровары, схватил в сарае лопату и помчался к оврагу, к своему заветному местечку, где зарыт слоновий горшочек с кладом. Подумать только, я даже не прикрыв его как следует. Если бы археологи нашли мой клад, а я что, с носом? Пойди тогда докажи им, что я умею клады искать. Я об этом думал и даже не заметил, как пролетел крутой овраг, хотя шел чуть не по стенке.

Не теряя времени, я стал откапывать свой горшок, но вот дело — куда ни ткну лопатой, она все натывается на твердое. Что же, в самом деле, за горшок, с дом, что ли? Я переменял тактику, встал боком и стал срезать землю тонкими пластами не вглубь, а по поверхности.

Скоро на уровне моих рук уже можно было видеть ширину горшочка. Он был толщиной так, примерно, с увесистую женщину. Но лопатой здесь не поработаешь, нужен инструмент поделikatней. Я вылез из оврага и порыскал на свалке. Тут, на счастье, за магазином была свалка, и я нашел проржавевшую крышку, то ли от кастрюли, то ли от детского горшка, — не бог весть какой инструмент, но надо спешить. Я спустился в овраг и начал обрабатывать свой горшочек так, словно выковыривал камешек из песочка, только камешек-то этот в кармашек великану. И так я пыхтел и здорово, видно, увлекся, если даже ниче-гошеньки не слышал и не видел, а не так-то легко было подступиться ко мне, как вдруг — гром среди ясного дня! — кто-то схватил меня за ухо, да так — черт тебя дери, я никогда и не думал, что можно так больно схватить за ухо, у меня аж заломило всю голову, и даже не мог повернуть шею, чтобы взглянуть на своего мучителя. Наконец пальцы (а вернее было бы сказать, тиски железные) разжались, и тут же послышался голос, да такой голосочек, что ни дать ни взять за своим добром явился сам хозяин-великан:



— Ты что же, воришка, у нас из-под носа хочешь наши находки утянуть?

Я наконец смог вернуться на сто восемьдесят градусов на узкой тропинке. Ну, так и есть! Точно, великан, да, пожалуй, еще он не брезгует человечинкой. Рост такой, что ему только телеграфные столбы чинить, борода рыжая, носище — семерым рос, ручки — ему бы не за уши хватать, а подковы гнуть. Это было бы для него приятное времяпрепровождение! Я ужасно разозлился, а когда я очень злюсь, я спокойным-спокойным становлюсь, вот и говорю я ему так спокойненько:

— Так, значит, вы говорите, это ваша находка! Скажите-ка мне, когда вы это нашли? Не прошлый ли раз (я сразу понял, что это археолог, как раз из тех, про которых рассказывала Джоанна), когда вы приезжали, все здесь перерыли и ни черта не нашли? Может, вы застолбили это место, забором обнесли, сторожа поставили, ярлык повесили — музейная вещь, экспонаты руками не трогать? Может, я не разглядел ярлыка?

Видно, рыжий здорово опешил. Он молчал, молчал, так на меня поглядывал, а потом как захохочет! Я говорю:

- Потихе смейтесь, а то мой горшок лопнет.
- Так, значит, это твой горшок? — говорит он.
- Ясно, мой, а чей же еще?

— Ну, ну, ты, значит, профессионал, а я,— говорит,— сразу не понял, я думал, это любитель тут копается, страсть не люблю любителей, но ты, я вижу, к ним не относишься, ты, значит, прежде меня сообразил пробежаться по этому оврагу?

— Ясное дело,— говорю я ему,— сообразил, а чего же тут не сообразить! Проще простого,— говорю.— Тут всякий,— говорю,— сообразит, кто вообще соображает, а так вы будете сто лет копать, пока до чего-нибудь докопаетесь.

— Ну, ну,— опять говорит рыжий,— и давно ты этим занимаешься?

— А чем это «этим»?

— Ну как же, «чем этим»? А археологией!

— А я «этим» не занимаюсь, я марки собирал и то бросил, не с кем меняться, а просто у меня глаз насквозный, и я подумал, зачем ему зря пропадать.

— Интересно, что это? Я не слышал.

— Не слышали, а зря, такие люди для вашей профессии во как нужны. Глаз насквозный — это значит, я вижу насквозь, через землю, и могу любой клад разыскать.

— Ну, брат, здорово ты себя рекламируешь, как цыган лошадь.

А он, черт рыжий, хитрый такой, сразу понял, что я к ним хочу. Он, пока со мной разговаривал, все рассмотрел, даже наклонился, камешек какой-то с тропинки поднял. Он увидел, что сюда дорожка протоптана по стенке оврага.

— Ладно, брат, пойдем, ребят позовем, твоим инструментом здесь не раскопаешь.

И он так серьезно взял своими ручищами мою крышку и так осмотрел ее со всех сторон, будто это на самом деле был какой-то интересный инструмент.

— Нет, не откапашь этим,— повторил он, вздохнул так, будто очень сожалел о том, что не откапашь этим инструментом, и швырнул крышку в овраг.

Мы тронулись, а он мне и говорит:

— Ты что же это, брат, здесь работаешь, а школой пренебрегаешь?

— Да нет, это я просто болею, у меня скарлатина была. Ну и потом у меня тут плохо заделано было, а я знал, что вы приехали, ну и побоялся, что вы на мое место вперед меня придете. Так и прошляпил бы все из-за этой скарлатины проклятой.

И тут мы уже совсем подошли к нашему пригорку, у калитки стояла Буля.

— Куда это ты запропастился?

— Ага, мы, значит, ближайšie соседи, — сказал рыжий, — тем более, заходи по-соседски на чашку чая, и дело заодно обсудим. Тебе ведь, наверное, не хотелось бы, чтобы без тебя твой горшок этот выкопали? А? А как горшок такой называется, знаешь? А дом твой хо-о-рош! — Он задрал бороду чуть не в небо. — Он, случайно, в прошлом не был пристанищем пиратов?

У меня ёкнуло сердце, когда он так сказал, но я, конечно, промолчал. Я повернулся к дому, а рыжий крикнул мне вдогонку:

— Заходи обязательно!

Я кивнул.

На столе уже стыл обед, я быстро заглотал его, не разбирая, что ем.

Я все думал об археологах и об этом рыжем: возьмут они меня к себе или нет? Я несовершеннолетний и к тому же в школе учусь, но если не возьмут, я буду им помогать после школы, хоть бы только копать, самую, самую тяжелую работу буду делать.

Буля видела, что я ем, а сам даже и в тарелку не смотрю, чего это я там ем, а Буля прекрасно знала, что это совсем на меня не похоже, и не настали еще такие счастливые времена, чтобы на еду внимания не обращать.

Ну она стояла, стояла, смотрела и говорит:

— Что за дела такие великие, тетка, происходят?

— Ох, Буля, такие, — говорю, — дела, что чуть из-под носа самого у меня мой клад не увели, а тогда как докажешь им, что я клады умею искать? Сейчас вместе копать будем. Без меня, сказал, не будет.

— Этот, что ли, рыжий? Он начальник у них? Больно на

людоеда похож, — сказала Буля. — Пожалуй, такого вот я и не дорисовала на нашей вывеске, на «Приюте пиратов».

Проглотив обед, я помчался к холму, на котором стояла палатка археологов, это совсем даже рядом было от нашего дома. Подбегаю. Парень какой-то возится около треноги, а на ней котел закопченный висит. Смотрю — а парень тушенку большим ножом открывает.

— А где ваши все?

— А тебе кого?

— Ну хоть того, с бородой.

— Александра Григорьевича? А ты кто?

— А я здесь живу.

— Ах, так это ты пифос нашел? А они все там, в овраге. Копают твой пифос.

Я помчался по оврагу. Что же это он, в самом деле, слово не держит! Но, оказывается, они еще не начинали копать этот самый пифос. Они только сделали вокруг площадку, чтоб удобно было стоять, и по бокам горшка землю отковыряли, так что теперь стало видно, какой величины этот горшок, — пожалуй, не меньше меня ростом будет. Рыжий бородач увидел меня и подошел ко мне.

— Вот рекомендую, — сказал он своим всем. — Как, коллега, тебя звать, мы забыли познакомиться?

— Александр Кубов.

— Вот, знакомьтесь, — Александр Кубов, тезка мой, значит. А я Александр Григорьевич.

Я достал немецкую финку в футляре, которую я еще утром потихоньку от Були утянул.

— А вот такой инструмент годится?

Он даже ахнул.

— Ну и ну! А у тебя есть разрешение на ношение холодного оружия?

— Это немецкая. Я в подвале нашел, когда мы еще в городе жили.

— Ах, нашел! Я смотрю, ты действительно профессиональный кладоискатель. У тебя действительно глаз... Как ты гово-

рил? — И он обратился к своим: — А вы знаете, коллеги, что за человек такой Александр Кубов? У него ведь глаз, как это... Он видит сквозь землю и может все, что угодно, найти.

Я уже понял, что он вроде говорит серьезно, а сам шутит.

Александр Григорьевич что-то объяснял и показывал своим, а потом спрашивает меня:

— Тезка, ты умеешь рисовать?

— Ничутьточки.

— Да и мне не надо, чтоб ты замки сказочные рисовал. Вот,— и он протянул мне лист бумаги и карандаш,— попробуй нарисуй свою бухту, как расположен в ней поселок, как овраг идет и где мы находимся.

— План нужен? Так бы и сказали...

Я столько раз представлял в уме нашу бухту, и где у генуэзцев мог быть причал, и где их поселок, что с закрытыми глазами мог бы нарисовать план.

Так я начал работать с археологами, и до конца дня я их всех уже хорошо знал и знал, что сейчас они приехали делать только пробный раскоп, чтоб узнать, стоит ли вообще здесь копать. А потом, если им утвердят экспедицию в Москве (а это попросту значит, если дадут деньги), тогда уже будут брать на работу много народу и тогда начнут настоящие раскопки.

Узнал я и то, что Александру Григорьевичу все про меня известно, и когда я спросил, откуда он про меня знает, он серьезно ответил:

— А у меня глаз насквозный, почти что как у тебя.

Потом мы стали раскапывать этот самый, как они говорят, пифос, а вернее будет сказать, они копали, а я стоял рядом в ужасном нетерпении. Мне жутко хотелось посмотреть, что же там внутри.

А Александр Григорьевич мне и говорит:

— Тезка, ты хоть знаешь, что такое пифос и для чего эта штука? Это просто бочка, обыкновенная житейская бочка, в них люди держали зерно или еще что-нибудь. Вот в такой бочке сидел Диоген, а если бы галлы изобрели раньше деревян-

ную бочку, то резонанс был бы уже не тот, и тогда уже Диоген не стал бы тренировать в бочке свой ораторский талант.

— Обыкновенная бочка! Да стоило из-за обыкновенной бочки огород городить...

— А ты погоди, тетка, не спеши. Иногда самая простая бочка интереснее нам, чем если бы она была из чистого золота. Что еще в этой бочке будет да вокруг этой бочки будет. Увидим, увидим...

И вот раскопали наконец эту самую бочку, этот мой слоновий горшочек. И с такой осторожностью из оврага его поднимали, как будто он и правда золотой или бриллиантовый.

Александр Григорьевич сдвинул глиняную крышку и заглянул внутрь. Хорошо ему! Ему хоть и в трубу печную на крыше ничего не стоит заглянуть.

— Ага,— сказал он, довольно потирая свои ручищи,— что-то там есть!

И как он только это сказал, я так прямо застыл на месте — то в жар меня бросает, то в холод. Ну, думаю, вот сейчас такое что-нибудь будет, такое...

И тут Гера с Витей наклонили этот самый пифос, и Александр Григорьевич своими длинными ручищами стал извлекать оттуда сначала ремни какие-то кожаные (они сказали, что это сбруя конская), потом топор какой-то, еще там всякий хлам. А я все ждал и ждал. Ну что, что там, на дне, должен же быть настоящий клад! Неужели только этот хлам и будет? Да, ей-богу, я в городе и то лучше клад нашел. Я даже плюнул с досады.

— Ну,— говорю,— знал бы я заранее, что здесь такое барахло, которое только на помойку выкинуть...

— На помойку, говоришь? — прорычал Александр Григорьевич. — Нет, видно, мал ты еще, чтоб стать археологом, тебе еще в салочки-выручалочки гонять. «На помойку»! А ты знаешь, помойка для археолога как раз и есть самое интересное. А ты говоришь — барахло.

Здорово мне досталось. Хорошо еще, что Александр Григорьевич любителем меня не обозвал. Вот что значат такие на первый взгляд пустяковые вещи! Для них для всех — теперь-



то стало мне понятно — этот самый пифос и то, что там было, вроде как знак был, что, мол, здесь ищите, вроде как игра «горячо-холодно», а я, как попугай, болтал о кладе, ничего не понимая.

На следующий день, я помню, Джоанна пришла какая-то особенная. Я тут же усек, что дело нечисто, и стал ее тормозить, в чем дело. Она туда-сюда, но меня-то не купишь на ржавую железку.

— Давай, — говорю, — выкладывай.

Ну, а она мне:

— Знаешь, оказывается, ты очень талантливый археолог, у тебя, — говорит, — дар особый.

А я говорю:

— С чего ты вдруг взяла, что я талантливый?

Ну Джоанна завела бодягу:

— Вот книжки прочитала и поняла, что ты талантливый.

А я говорю:

— Нечего хитрить, и, если мы друзья, давай выкладывай все начистоту.

Ну она и призналась, что рассказала Пал Палычу про слоновий горшочек, а он почему-то удивился совсем не тому, что я нашел этот горшок, а просто-напросто тому, что я догадался пробежаться по стенке оврага. И он сказал чего-то там насчет естественно разрезанного «культурного слоя». Ну это он, по-моему, загнул, хотя мне и приятно, что Пал Палыч считает меня талантливым. Но если бы Пал Палыч знал, что эта мысль пришла ко мне ну совсем дуриком: я тогда даже ни одной еще книжки не прочитал про археологию, просто думал, как здесь жили генуэзцы и куда все это подевалось? Если бы Пал Палыч знал все это, а тем более, если б он знал, что в горшке ничего особенного не оказалось, он бы, конечно, не стал говорить, что я талантливый. И хоть мне не очень-то приятно было разочаровывать Джоанну, но я все-таки ей сказал:

— А знаешь, на самом-то деле все ерунда оказалось, ничего в этом слоновьем горшочке стоящего не было: не то что там золо-

того гребня или фигурок, а вообще гниль какая-то. Так что никакой я не талантливый.

— Как это? Откуда ты знаешь?

— А вот так и знаю. Все уже раскопано, все уже известно. А вот ты скажи лучше, зачем ты без спросу нашу тайну выдала?

А Джоанна как будто и не понимает.

— Выдала? — говорит. — Кому же это я ее выдала?

— Как это кому? А Пал Палычу?

— Ну, Санька, ты уж совсем того, рехнулся. Это же Пал Палыч! Да ты сам знаешь, какой он мировой, да он никому ни за что не скажет.

— Еще не хватало, чтобы он говорил! Да разве в этом дело? Все равно вон археологи все узнали, но ты не должна была говорить. Я-то не говорил, они сами узнали! А ты растрезвонила.

— Да ну тебя, Санька, ты тронутый, ей-богу! Ну ты же сам говорил, что Пал Палыч совсем другой, чем все учителя, с ним так интересно.

— Ах так, ну и иди водись с ним, если с ним интересно, а со мной можешь не водиться, тем более что я совсем даже и не талантливый.

— Нет, Санька, ты определенно того... на почве скарлатины.

На следующий день я должен был идти в школу. Джоанна показала мне уроки, мы вместе с ней делали алгебру. Но мы больше не говорили ни о Пал Палыче, ни о слоновьем горшочке. Мне все время было не по себе. Что-то сверлило меня внутри, не давало мне покоя, как будто кто-то третий встал между нами.

Вечером мы с Булей работали на огороде; а если сказать честно, то не работали, а наслаждались зрелищем. И было у нас тогда с Булей гордости, я думаю, не меньше, чем у суворовских солдат после того, как они перешли Чертов мост.

Мы стояли, только Буля не могла стоять так просто: она то веточку от помидора отщипнет, то плетение огуречное поправит. И так мы стояли и млели, а Буля меня и спрашивает:

— А помнишь, тетка, как тебе хотелось чего-нибудь вкусенького, а я тебе сказала: вырастет — тогда и будет вкусенькое. Ведь небось не верил тогда?

Мы оба засмеялись, и я даже не ответил Буле: зачем говорить, когда и так все понятно!

Потом Буля готовила ужин отцу, а я безнадежно ломал голову над алгеброй — ведь завтра мне надо было уже идти в школу, когда вдруг мы услышали на нашем пригорочке голос отца и еще кого-то. Этот «кто-то» оказался дядя Николай. Когда они вошли, сразу было видно, что они такие веселые и счастливые, как будто случилось что-то невероятное: ну, скажем, как если бы нашли сокровища Флинта.

Дядя Николай такой симпатичный, и я только сейчас рассмотрел, какой он молодой, а ведь он — товарищ отца, и, наверное, ему лет столько же, сколько моему отцу. Но бьюсь об заклад: кто не знает, мог бы подумать, что это мой товарищ, а не отца. Он курчавый и загорелый, и из-под куртки у него виднеется тельняшка. Он сжал мне руку так, что я даже присел и ойкнул, а потом выжал меня за локти два раза и сказал:

— Давай, брат, заводи музыку, у нас сегодня праздник.

И отец сказал:

— Санька, бросай свои уроки, отметим, черт подери, это событие, ведь ты же сын корабельщика!

А событие было вот какое: оказывается, их завод сегодня спустил на воду первый починенный танкер, и они разбили об него бутылку настоящего шампанского.

Мы с Булей тоже так радовались, как будто это мы с ней отправили в плавание первый танкер, а не всего-навсего вырастили огород. И хотя мы с ней уже ужинали, мы тоже сели за стол, и отец налил и мне и Буле красного вина, и мы чокнулись, и тут вдруг Буля соскочила с табуретки, стремглав бросилась в чуланчик и притащила два наших самых больших (наверно, по полкилограмма) помидора, которыми мы собирались удивлять народ, и протянула один дяде Николаю, а другой отцу.

Они, конечно, охали и восторгались Булиными способностями и говорили, что помидоры даже жалко разрезать.

Я снова сел за алгебру, Буля занялась своими делами, а отец с дядей Николаем сидели и разговаривали, вспоминали войну и какого-то Алешку и капитана Ивана Потапыча, а мне совсем не шла на ум эта чертова алгебра. Я все думал, какая у отца была долгая жизнь без меня, на фронте, сколько всего случилось. А у меня за это время ничего не случилось, просто я жил с Булей и сам не заметил, как вырос.

И тут на пороге появляется отец и говорит:

— Пойдем, Санька, с нами, одну вещь увидишь.

Я отбросил алгебру, и мы втроем — я, отец и дядя Николай — пошли на наш обрыв. Отец говорит мне:

— Вот туда смотри, — и показал налево к горизонту.

Я стал смотреть, а там в море скала такая длинная, как ящерица, закрывает от нас город, и ничего не видно — просто море было очень красивое. Солнце как раз только что село, а воздух был немножко фиолетовый, а море как будто перламутровое.

И вдруг отец посмотрел на свои часы, и как раз в эту секунду я увидел, что из-за носа скалы — как будто бы от скалы отделился кусочек — выплыл пароход. Отец вдруг рванулся и схватил меня в охапку, а дядя Николай закричал:

— Ура! Слава нашему «Алексею Коробицыну»!

Это и был первый починенный ими и выпущенный в испытательное плавание танкер. А потом мы все трое стояли на обрыве, как будто отдавали военный салют «Алексею Коробицыну». И так мы стояли и стояли, и незаметно сразу стемнело, и воздух из фиолетового стал темно-темно-синим, и «Алексея Коробицына» уже почти не стало видно, только, если всматриваться так, что больно глазам, можно было еще увидеть медленнодвигающееся пятнышко. И тут, когда его совсем не стало видно, вдруг на нем вспыхнули красные и желтые огоньки.

На следующий день я пошел в школу, и тогда же все и случилось. И подумать только, что я своими собственными руками

дал этой толстой корове Надьке Кочкиной «Джека-Соломинку»! Пристала: дай интересную книжку почитать, ну я ей и принес «Джека». Еще на первом уроке Надька меня спросила:

— Как ты там, в больнице, не скучал?

Я подумать не мог, что в этом вопросе таится хитрость, и говорю:

— Нет, ко мне приезжали.

И вот на большой перемене Надька встала на парту и закричала:

— Ребята, что я вам расскажу, послушайте!

И я, дурак, уши развесил, ничего еще не соображаю.

— Вы знаете, почему Анька Каркачиди с нами ни одного разика не ходила ни купаться, ни за кизилом — никуда? Знаете почему? Не знаете! Так я вам расскажу. Потому что она сразу после уроков мчалась к Кубовым.

Я и тут еще ничего не понял: ну и нашла чем удивить! Что ж тут такого, что приходила, если я болел, так, выходит, и уроки нельзя принести. А Надька скорчила такую рожу, что аж затошнило. И медовым таким голоском запричитала:

— Ну конечно, Сашенька, можно. Конечно, можно. Кто еще о тебе позаботится, как не твоя Джоанна.

Тут уж, когда Надька это сказала, меня как будто иглой раскаленной кольнули и глаза аж туманом заволокло. Я как закричу, сам себя не помня:

— Замолчи сейчас же, замолчи, дура, кретинка!

А Надька не останавливается:

— Вы знаете, почему наша Анька Каркачиди себе придумала имя Джоанна? Она вовсе его не придумала, а взяла вот из этой книжки. — И Надька вытащила из парты «Джека-Соломинку» и помахала им над головой. — А Санька — Джек-Соломинка, ее жених, она к нему и в больницу ездила, чтоб он не скучал. И отец у него жених, и он сам жених. Ты ведь, Сашенька, Джек-Соломинка, так? Ну скажи, не так?

И не знаю, что это со мной случилось, только, конечно уж, не Надьку я испугался, а просто все на меня так смотрели, все-

все, весь класс, а я чувствую, что у меня внутри тряска какая-то начинается, и я закричал:

— А вот не так, никогда я не называл себя Джеком-Соломинкой, это только Анька себя Джоанной называла, и никакой я не жених, а Надька Кочкина — толстая корова, и мать ее спекулянтка, не хочет в колхозе работать...

Я еще продолжал кричать, что Надька такая и сякая, но внутри у меня уже все похолодело, и холод поднимался к груди, и к рукам, и к голове, и немел язык, и тут я увидел, как Джоанна встала со своей «камчатки» и спокойно пошла по ряду прямо к нам. Никто больше не смеялся, все молчали, а она подошла прямо к нашей парте и как ни в чем не бывало говорит Надьке Кочкиной:

— Давай сюда книгу.

А на меня даже не взглянула.

Надька Кочкина молча отдала ей книгу, и Джоанна опять пошла на свою «камчатку».

Но, дойдя до середины, остановилась и как заплачет, а потом схватила свой портфель и выскочила из класса. И тут как раз Пал Палыч вошел. Он вошел и сразу спросил:

— Что случилось с Каркачиди?

А Надька, змея подколодная, даже после всего не смогла стерпеть и снова свой яд выпустила:

— А она, Пал Палыч, без разрешения ушла.

Было видно, что даже Пал Палыч здорово на Надьку разозлился и сказал:

— Это не ответ, Кочкина. Я спросил, что с ней случилось.

А Надька и говорит:

— А вы у Кубова спросите, пусть он расскажет.

Но Пал Палыч ничего не спросил.

Я пришел домой сам не свой. Внутри у меня было так, как будто бы где-то там вскочил большой чирей, мне даже не хотелось есть — возьму ложку и снова кладу ее. Буля посматривала на меня поверх очков, но ничего не спрашивала.

Сколько раз в течение дня Буля так смотрела на меня, глаза ее говорили: «Ну что, что? Откройся!» — но ничего не спрашивала. А я не мог. Ну не мог — и все тут! — ей рассказать. Я тоже несколько раз уже рот открывал. Или начинал издали, но об этом так и не смог сказать.

...Нам с Булей предстояла важная работа: в следующее воскресенье у нас свадьба, и нам с Булей столько всего надо было сделать, что просто ужас. Во-первых, Буле пришлось в голову сделать копченую колбасу и копченую рыбу, и мы стали сооружать у нас во дворе коптильную печку. Буля, конечно, была мастер, а я на подхвате. Мы попросили у тети Веры десяточек кирпичей, и Буля сложила маленькую печечку, но это была не совсем печка, сверху не было никаких дырок, а только вход и выход. Я месил глину, и мы вместе аккуратно замазали ее, а потом Буля поручила мне раздобыть хороший, крепкий ящик и кусок железной трубы. Ну, я побежал на свалку за магазином и нашел там ящик что надо. И я подошел к тому месту, где был раньше мой слоновий горшочек. Сейчас там была большая дыра, вроде как пещера. Я смотрел, бросал носком в овраг комья земли и думал. А все-таки ужасно жалко, что я не раскопал его один и что там не оказалось чего-нибудь такого, ну, в общем, сокровища. Может, я бы не отдал все археологам, а хоть одну какую-нибудь штучку, хоть какое-нибудь там золотое ожерелье я бы оставил и отнес Джоанне. Она, конечно, не такая, чтобы за подарки мириться, но просто она бы так удивилась и спросила: «Где ты это взял?» А я бы спокойно ее спросил: «Может, ты предпочитаешь золотой гребешок с гладиаторами или фигурку писца?»

Я вернулся домой с ящиком, а трубу не нашел, и нам опять пришлось идти к тете Вере и брать у нее трубу от самовара. А нужна она была вот зачем: Буля всунула ее в дырку печки и замазала, а второй конец трубы сунула в ящик, только сначала мы там сделали полочки такие из палочек, как в кладовке. И получилось у нас агрегат — чудо современной техники.

Ты топишь печку, но так, чтоб было больше дыму, чем огня, а дым идет по самоварной трубе и заходит в ящик, а там на пол-

ках раскладывай любые товары и копти, сколько твоей душе угодно.

Но только это не то что суп сварить или кашу — тут надо держать целый день, а то и два.

Тетя Вера стояла рядом, смотрела и все время ахала.

— Подумать только, городская женщина, а такие вещи знает! А мы-то всю жизнь прожили на рыбе и ничего такого не знали.

Печка-рыбокоптилка поразила тетю Веру ужасно; ну и конечно, тетя Вера еще знала, что Буля шьет и рисует, и все прочее. Тетя Вера сказала, что Буле надо было бы в поселке открыть курсы народного просвещения. Так она и сказала. Весь поселок бы ходил, и, ей-богу, толку было бы больше, чем от наших собраний.

И так тетя Вера Булю захваливала, а я хоть и знал все это и сам, а все равно мне было приятно, потому что я знал, что тетя Вера совсем не лицемерка и ничего она у Були не выпрашивает, как некоторые другие. Хвалят, когда им чего-нибудь надо. А тетя Вера, наоборот, только нам с Булей помогает. И рыбу-то нам тоже тетя Вера достала: она же всех здесь знала, договори-лась с рыбаками, и они продали Буле немного ставриды. Буля сначала вскипятила ее в соленой воде, а потом мы ее коптили; и она получилась такая вкусная, хоть Буля говорила, что она еще не готова, — шкурка золотистая, жир прямо так и капает, и так аппетитно пахнет копченым, что я, например, вполне бы мог съесть все один. А когда Буля начала делать колбасу, мне даже и смотреть не хотелось и думать об этом! Я ушел на огород и стал собирать спелые помидоры.

В следующий понедельник первый урок был история. Пал Палыч, как всегда, быстро-быстро делал перекличку и дошел до буквы «К».

— «Каркачиди, Кочкина, Кубов», — как пулемет, тараторил он и тут вдруг остановился и взглянул на «камчатку».

— Каркачиди! Где Каркачиди? Заболела?

— Они уехали на Урал! — закричали все в классе, и, кажется, я один только этого не знал.

Я незаметно оглянулся и посмотрел на «камчатку». Пал Палыч сказал:

— Каркачиди уехала? Жаль, талантливая голова ушла из нашего класса.

И тут Пал Палыч вдруг замолчал, и подошел к окну, и вынул портсигар (а мы и не знали, что он курит), и вынул немецкую зажигалку, и закурил прямо в классе. Стоял там и смотрел в окно, а потом загасил папиросу о подоконник и сказал:

— Эх, Каркачиди, Каркачиди, даже не зашла попрощаться. Ну ладно, начинаем урок.

А я поднял руку, и Пал Палыч спросил:

— Тебе чего?

И я сказал:

— Можно выйти?

И Пал Палыч вдруг посмотрел на меня быстро так, и еще посмотрел, и сказал:

— Ты еще не совсем здоров, собирай портфель и уходи домой.

И я послушно собрал портфель, хотя, конечно, был совсем здоров, и пошел. А в дверях обернулся и сказал: «До свиданья!», но никого не видел, вышел из двери и шел тихо-тихо по коридору, не зная, зачем я ушел, и так же тихо вышел из школы. Но когда дошел до дороги, повернул сразу в другую сторону и побежал, в деревню Васильевку, где жила Джоанна.

Зачем я бежал, я и сам тогда не знал, но так бежал, как никогда не бегал даже на физкультуре, и у меня так закололо в левом боку и так заболело горло, что я не мог дышать. Я подбежал к последнему дому, к Джоаннинному дому, и когда увидел, что дверь открыта, у меня чуть не лопнуло все внутри; я решил, что она еще не уехала и я так буду просить прощения, совсем забуду про всякую гордость, и, может быть, она простит меня.

Но я совсем забыл, что ведь ее бабушка осталась, папина мама, а Джоанна уехала. Это я сразу понял, когда толкнул дверь,

и, как псих, влетел в комнату, и увидел ее бабушку — она подметала пустую комнату, — и я влетел прямо в кучу мусора, в Джоаннины старые тетрадки, и блокнотики, и промокашки. Я ничего не сказал бабушке и ничего не спросил, а повернулся и пошел обратно. Я увидел на дороге свежую колею от грузовика. Ночью был дождь, а она не размокла, и в глине отпечатались аккуратненькие квадратики от шин.

Я пошел по дороге, стараясь не наступать на эти квадратики, на следы Джоанниной машины. Я дошел до развилки и остановился, потому что я не мог идти домой. Да вот, не мог идти домой, хоть у меня дома есть самый лучший друг, какой только бывает на свете, самый понятливый. Но потому-то я и не мог идти домой. Ведь я не могу скрыть от Були, я должен ей сказать, что я предал Джоанну, а как я могу сказать это Буле? Ведь ни разу, ни разу такого со мной не было. Буля верит в меня, а я ей должен это сказать. Я и пошел не по той дороге, которая ведет к поселку, а пошел по дороге, ведущей к школе. Я вдруг понял, кого мне надо срочно увидеть — Пал Палыча, я понял, что именно он мне сейчас необходим. Почему-то мы оказались с ним связаны через Джоанну. Я вспомнил, как он достал портсигар и закурил прямо в классе, когда узнал, что Джоанна уехала. Джоанна его обидела: не попрощалась с ним даже. И он переживал из-за этого. Выходит, что он тоже ее любит. Почему я говорю «тоже»? Разве я ее люблю?!

Я открыл дверь учительской. Там сидел Пал Палыч над нашими тетрадками. Он несколько не удивился, увидев меня. Как будто бы так и надо. Как будто он меня ждал. Я не думал заранее, что я скажу Пал Палычу, вообще не думал, как это будет, о чем мы будем говорить, а тут, когда зашел, меня вдруг осенило:

— Пал Палыч, вы не думайте, что Каркачиди увезла вашу книгу, она у меня.

— Заходи, Кубов, присаживайся, поговорим.

Пал Палыч ничего не ответил про книгу. Может, он не расслышал, а может, хотел мне этим сказать: «Знаю, что это все враки, что вовсе не из-за книги пришел».



Я подошел, сел на стул сбоку стола. Мы оба долго молчали, и Пал Палыч снова, как тогда, достал портсигар и закурил папиросу.

И я сразу понял, что Пал Палыч знает все, что там у меня творится, и может, даже знает про то, в классе. Вот он сейчас заговорит, вот у него уже подрагивают усы...

Я онемел. Я стал каким-то железобетонным, и только бухало в ушах. Я ждал, что скажет Пал Палыч.

И Пал Палыч начал:

— Вот, Кубов, что я хочу тебе сказать... Это было в последнее предвоенное лето, когда я начал самостоятельные раскопки. Я тогда только что кончил археологический...

— Вы начали раскопки, вы...

Пал Палыч сбил меня с копыт одной левой, положил на обе лопатки, в секунду провел три раунда и во всех победил.

— Так вот, Саша, понимаешь ли, я знал, я чувствовал, что стою на пороге большого открытия, может быть, великого. Уверен был в том, что у меня начинается жизнь, о которой я мечтал, — жизнь ученого. И бац! Война!..

Я слушал Пал Палыча, боясь пропустить хоть слово, хоть букву. Все, что он говорил, было совсем даже не о Джоанне и не о том, о чем я хотел с ним поговорить, но в то же время я почему-то почувствовал, что все это имеет отношение и ко мне и к Джоанне.

— И вот понимаешь, Саша, война!..

— Ну а потом?

— А потом... Потом началась совсем другая жизнь — школа, кружок... И потом нога, Саша.

Пал Палыч достал еще одну папиросу, закурил ее от первой. Он встал, и так противно, так визгливо заскрипел его протез.

— Так вот, Кубов, ты понимаешь, надеюсь, что я говорю с тобой сейчас не как учитель, а... ну как старший товарищ, что ли. Так вот что. Бывают обстоятельства, которые сильнее нас. И они ломают нашу жизнь. И это обидно, очень обидно. Но если выбор зависит только от ТЕБЯ, то ты должен его сделать. Понимаешь, должен. Не должен предавать...

Я так вздрогнул, что даже подскочил на стуле. Но Пал Палыч говорил совсем не о том.

— Не должен предавать то дело, которое ты избрал, которым ты послужишь людям... как бы не были тягостны твои личные обстоятельства. Ведь смешно думать, что личные обстоятельства могут быть только у взрослых. Ведь правда?..

...В воскресенье у нас была свадьба. Рано утром отец поехал в город за Ксенией Ивановной. Они должны были сначала пойти в загс, а потом приедут к нам домой и все приглашенные отцом и Ксенией Ивановной.

Мы с Булей в этот день сбились с ног, хотя про Булю можно было сказать, что она всю эту неделю сбивалась с ног, и непонятно, на чем сейчас стоит.

У Були все уже было готово, и, оказывается, все равно ничего не готово. Табуреток не хватает. Стол маленький. Чтобы собрать нужное количество табуреток, я обегал всех соседей. За посудой Буля пошла сама к тете Вере и сказала мне, что хочет посоветоваться со мной, не обидится ли отец и Ксения Ивановна, если она пригласит и тетю Веру и тетю Марусю Кочкину (это мать Надьки Кочкиной). С соседями надо жить дружно, и должна быть не такая дружба, как у волка с лисой, а настоящая, душевная, чтоб делить и хорошее и плохое.

Я, конечно, не возражал, хотя мне не очень-то хотелось видеть на нашей свадьбе мать Надьки Кочкиной, но я думал сейчас не о дружбе с соседями, а о том, что тетя Вера и тетя Маруся Кочкина помогут Буле, а мне, я знаю, Буля не доверит мыть чужую посуду.

Вот наконец у нас все готово. Стол мы поставили во дворе — вернее, не стол, а три стола (притащили тети Верин и тети Маруси Кочкиной), — накрыли белыми скатертями, а один простыней, но все было так тесно заставлено едой, что и не видно совсем, что это простыня. Посередине красовалась колбаса Булиного изготовления, и пироги, и баклажанная икра, а огурцов и помидоров прямо горы.

На большом длинном блюде лежала копченая ставрида. Стояло настоящее покупное вино, не считая того, что тетя Вера и тетя Маруся Кочкина принесли еще свое домашнее вино: один сорт из винограда, а другой — из яблок.

Но это еще не все. Разве Буля могла обойтись без неожиданного! В конце обеда Буля собиралась подарить отцу и Ксении Ивановне свой главный сюрприз — огромный пирог, чудо кулинарного и художественного Булиного искусства. Он стоял до

поры до времени в комнате на круглой доске, которую мы с Булей сбили и зачистили специально для этого пирога. Еще со вчерашнего дня весь поселок приходил дивиться на это чудо. Но секрет знали только мы с Булей. Пекся-то он не сразу, а сначала мы с Булей начертили чертеж пирога в натуральную величину, а потом чертеж разрезали на части, и Буля пекла пирог по частям, а потом уж составила все вместе, и он так крепко пригнулся, что никто-никто не догадался об этом.

И вот наконец приехал отец с Ксенией Ивановной, и все гости, и дядя Николай, которому я ужасно обрадовался. Ксения Ивановна была в голубом платье, черные косы уложены на голове как корона, и отец был в белой новой рубашке, и он все время смеялся. Все сели за стол, и хвалили угощения, и говорили, какая Александра Васильевна хозяйка. Выпили, как полагается, за здоровье молодых, и я тоже выпил, мне налили шипучего яблочного вина, а дядя Николай, который сидел рядом со мной, говорил, что это настоящий яблочный сидр и что точно такой пьют французы.

Говорили все сразу, было шумно и весело, желали счастья отцу и Ксении Ивановне, и Буле, и мне, а отец и Ксения Ивановна желали счастья всем гостям и пили за мир во всем мире, и за счастье всех людей, и чтоб никогда больше не было войны.

Буля с другого конца длинного стола строго посматривала на меня, когда я уже в третий раз подливал себе яблочного сидра, и я видел, что она сердится, но у меня вдруг стало такое хорошее настроение, в первый раз за все эти дни я вдруг почувствовал, что мне легко-легко, и хотелось пить и смеяться, и все вокруг были такие веселые.

А потом завели патефон, и я хотел идти танцевать, но дядя Николай крепко схватил меня за руку, притянул к себе и зажал между колен, как маленького, но я не рассердился: он такой хороший, и я по нему ужасно соскучился.

Он меня стал спрашивать, продолжаю ли я собирать марки.

Я сказал, что собираю, но ни одной новой пока не собрал, потому что тут никто не собирает и меняться не с кем. А он

сказал, чтоб я приехал к нему на завод, и мы пойдем после работы, и он меня познакомит с настоящими филателистами.

— Ну, а чем же ты сейчас увлекаешься? — спросил дядя Николай.

— Морисом.

— Морисом? Что это за зверь?

— Это... это конь.

— Конь?

— Да, конь, белый, в серых яблоках, и он шевелит ушами и дергает носом, и его держит под уздцы принцесса, она его мне подарила и к нему такую чудную клетку с ручкой, чтобы можно было носить с собой.

Дядя Николай так странно посмотрел на меня и пригласил меня вихры.

— Не пей больше, пойдя проветришь немного.

Я пошел. Пошел я, взял клетку с Морисом, сел на обрыв, а Мориса выпустил из клетки, и он скакал по мне, он же стал совсем-совсем ручной, и мне уже не было весело, а наоборот, сами собой навertyвались слезы. Я боялся расплакаться, совсем как девчонка. Море было темно-синим, почти черным — настоящее Черное море, как на Булиной картине, а вон там, далеко, какой-то пароход. Сейчас он приблизится. Это белый парусник, а на носу стоит капитан в бархатной куртке и в шляпе с пером и курит трубку... Мы подплываем, нас встречает много-много лодок, все нас приветствуют, кричат «ура!», а на берегу стоит Джанна и держит под уздцы Мориса, а кругом генуэзцы. Это же настоящий генуэзский порт. Тут я вдруг вспомнил про свой слоновий горшочек и решил, что я хоть лопну, но найду настоящий клад, такой, что все ужасно удивятся, и отнесу археологам, а их начальник возьмет меня к себе главным кладоискателем.

Я так сидел, сидел и просидел, наверное, долго, даже, кажется, заснул, потому что помню, как неожиданно прозвучал над головой голос отца:

— Саня, Саня, пойдя попрощайся, гости уходят.

Я потянулся и встал. Морису надоело прыгать, и он залез в клетку и сидел там, хоть она была открыта. Я пошел прощаться

с гостями, и мы втроем с отцом и Ксенией Ивановной провожали всех до автобуса. Дядя Николай на прощание снова приглашал меня заходить к нему и насчет марок и вообще. Гости меня целовали и обнимали, а мне было неудобно, потому что в одной руке у меня была клетка с Морисом.

Мы вернулись домой, я буквально спал на ходу, но завтра, слава богу, не надо идти в школу, потому что я отпросился еще в субботу. Завтра отец и Ксения Ивановна уезжают в отпуск на целый месяц к ее родителям в Харьков.

Тетя Вера и тетя Маруся Кочкина убирали со стола посуду и складывали на тарелки остатки большого пирога, а я даже и не увидел, удивился ли отец этому пирогу и была ли довольна Ксения Ивановна. Буля сидела на табуретке, но все время порывалась встать, а тетя Вера и тетя Маруся Кочкина снова ее усаживали и говорили, чтоб она легла, что у нее неважный вид. Я вспомнил Булины взгляды через стол, когда я потягивал шипучее яблочное вино, и боялся разговора, но Буля ничего не сказала, может быть, потому, что мы вошли в кухню втроем и Ксения Ивановна обняла меня за плечи.

А наутро мы завтракали вчетвером. И не на кухне, как всегда, а в комнате. На Ксении Ивановне был длинный блестящий халат с синими и красными большущими цветами, и косы лежали так же короной. Я удивился, что дома надевают такую дворянскую роскошь, как в театре. Моя Буля всегда ходила в темно-синем сарафане, который сшила еще в войну из отцовских брюк, а внизу у нее была моя старая лыжная куртка. Тут я посмотрел на Булю и увидел, что на ней вовсе не лыжная куртка: под сарафаном у нее новенькая белая кофта с отложным воротничком, и даже была пристегнута брошка-собачка в красную крапинку, как мухомор. Да, конечно, Буля и вчера была в новой кофте, а я даже не заметил. И я спросил Ксению Ивановну:

— А вы заметили на бабушке новую кофту? Это она сама сшила.

Буля непонятно как-то посмотрела на меня, а Ксения Ивановна рассмеялась.

Потом мы собирали в дорогу Ксению Ивановну и отца. Собирала, конечно, Буля, а я крутился у нее под ногами. Буля заворачивала в газету колбасу и пироги с мясом, а Ксения Ивановна протестовала, смеялась и говорила, что им это не съесть за целый год и чтоб мы оставили себе. Ксения Ивановна не знала, что мы с Булей не притронулись ни к этой колбасе, ни к этим пирогам с мясом.

Поезд уходил поздно вечером, и отец говорил, что нам не надо ехать провожать: как мы ночью домой будем возвращаться? Но мы все-таки поехали.

И вот мы уже распрощались, и Буля велела отцу написать сразу, как только приедут, и уже велели провожающим покинуть вагон, Ксения Ивановна достала из щелкающей сумочки шоколад «Дирижабль» и дала мне.

Поезд ушел. Мы с Булей побрели на автобус. В автобусе было битком набито народу, и он, как назло, еле-еле тащился и долго стоял на каждой остановке. Я видел, что Буля устала и ей не по себе, и хотел, чтоб кто-нибудь уступил место, но стеснялся попросить и только гипнотизировал взглядом одного дядьку, чтоб внушить ему мысль на расстоянии, что надо встать и уступить место старой женщине, которая к тому же плохо себя чувствует.

И когда мы наконец доехали, и поднялись на свою горку, и Буля взялась рукой за калитку, я испугался, что ей будет так же плохо, как в тот раз, когда мы ехали из больницы. Но ничего. Буля только постояла немного, и мы пошли снова и сразу без чая легли спать.

А ночью Буля меня разбудила. Я сначала ничего не мог понять и совсем запутался в темноте: ведь электричество у нас выключают в двенадцать часов, пока наконец не зажег фитилек с постным маслом. Тогда я подбежал к Буле, и мне показалось, что у нее все лицо черное, но это просто свет был такой. Буля держалась за грудь и показывала рукой на швейную машину, а я не мог взять в толк, при чем здесь швейная машина, пока наконец Буля каким-то не своим голосом прохрипела: «Ящик».

И тогда я сразу вспомнил, что Буля держит свои лекарства в ящике для ниток. Я схватил ящик, да так, что он у меня весь выдвинулся и полетел на пол, по полу покатались катушки, но пузырек с каплями, слава богу, не разбился. Я выбежал на кухню за стаканом, но увидел, что Буля машет рукой, подбежал к ней — она пыталась что-то сказать, но я не понимал что. Наконец я понял слово «маленькие» и бросился снова к машине, встал на четвереньки и стал раскидывать тряпочки и нитки и нашел маленькую стеклянную пробирочку, а в ней малюсенькие такие таблеточки, хотел дать Буле несколько, но Буля выпила только одну. Может разве помочь одна такая малюсенькая таблетка? Но Буле почти сразу стало легче. Она смогла говорить и сказала мне:

— Пойди за тетей Верой.

Я побежал к тете Вере (она жила рядом, через два дома), постучал в окошко и закричал:

— Тетя Вера, бабушке плохо!

Тетя Вера вышла почти что сразу, в одной рубашке, а сверху ватник, и мы побежали снова к нам, и тетя Вера все повторяла:

— Я так и знала, что этим кончится.

Потом у калитки она остановилась и сказала:

— Знаешь что, не теряй времени, беги в поссовет, там сторож, скажи, что бабушка умирает, пусть звонит в город, вызывает «скорую помощь».

Я прибежал в поссовет; сторож спал на ступеньках и никак не мог сначала понять и спрашивал, кто мы и где живем, но я наконец догадался назвать тетю Веру, и он тогда встал, открыл ключом дверь и стал звонить в город.

Когда я прибежал домой, то увидел, что у нас сидела не одна тетя Вера, а еще и другие соседки. Я подбежал к Буле, но говорить не мог, задыхался, а тетя Вера и не спрашивала, вызвал ли я «скорую помощь». Я сел на край Булиной кровати и взял ее руку в свою и вдруг ощутил, что Булина рука такая холодная и такая тяжелая. И жуткая мысль пришла мне в голову. Нет, Булино лицо было живое. И она как-то странно дви-

гала бровями, будто разговаривала сама с собой и чему-то удивлялась. Я услышал, что кто-то из соседок сказал: «Началась агония». Я знал, что это значит. Но этого не может быть! Она же не болела. Это просто приступ, он пройдет. Сейчас приедет врач.

Я бросился к дверям посмотреть, не едет ли «скорая помощь», но тетя Вера остановила меня и сказала:

— Не суетись, Саша, попрощайся с бабушкой, она умирает.

Я снова подошел и сел на Булину кровать. Веки ее вздрагивали, как будто она силилась, но не могла раскрыть глаза. Я взял ее холодные пальцы и стал растирать их и дышать на них. Тетя Маруся Кочкина сказала:

— Она уже ничего не чувствует.

Но я не верил, ни за что не хотел верить, что Буля может умереть и даже не попрощаться со мной и я не успею ей ничего сказать!

— Буля, бабушка, чем ты была для меня! Я не могу, не могу без тебя, просто даже не знаю, как же я буду без тебя жить!

И я почувствовал, как Буля чуть-чуть сжала мою руку.

Когда приехала «скорая помощь», Буля была уже мертвая, я это видел, а все-таки надеялся: вдруг доктор сделает какой-нибудь укол, может быть, это только она без сознания. Но доктор даже не стала раскрывать своего чемоданчика. Она вошла, взглянула на Булину кровать и сразу спросила, кто тут ближайшие родственники, и села к столу, а тетя Вера стала ей все объяснять про Булю и про отца, а потом стала говорить, что она так и думала, что так кончится, потому что Александра Васильевна вот нисколько о себе не думала, а ей было уже очень, очень плохо, еще когда была свадьба, но она не хотела им портить настроение.

Но доктор ее перебила и строго сказала:

— Теперь уж ей ничем не поможешь, лучше подумайте о мальчике и как все организовать. Кто будет заниматься похоронами?

Тут вмешалась тетя Маруся Кочкина и сказала:

— То-то и оно, что некому. Я говорю, надо зятя вызвать, как же еще-то...

Доктор сказала:

— Ну, в общем, вот вам справка, по ней получите нужные документы, а там разбирайтесь.— И она уехала.

А тетя Вера и тетя Маруся Кочкина стали спорить, нужно ли вызывать моего отца и Ксению Ивановну или нет. Тетя Маруся Кочкина мне и говорит:

— Ты-то что молчишь, как воды в рот набрал, тебя разве не касается?

А тетя Вера ей говорит:

— Отстань от него, Маруся. Я тебе дело говорю, посчитайка — ты сама знаешь, как телеграммы сейчас ходят,— когда они получают, еще когда билет достанут и доедут.

— Ну, билет им дадут по телеграмме.

— Да все равно не меньше пяти дней получится. Зачем же зря людей срывать с места, небось всю войну без отпусков воевал. А что мы его без толку будем тягать. Мы с тобой все и сделаем, а потом уж пропишем в письме.

— «Сделаем, сделаем»! А деньги-то кто даст?

— А, вот чего тебя беспокоит, ну ты, Маруся, как есть кулачка! Да были бы у меня, я б все сама дала. Что же ты думаешь, что Леня-то с Ксеньей не отдадут?

— Отдадут, не отдадут, да лишних-то нет.

— Ну это ты, Маруся, брось. Кому ты говоришь? Да я могу тебе сказать, на сколько ты наторговала, а у меня, знаешь, одна зарплата, а сад — дай бог себе повидла сварить хоть бидончик.

Тетя Вера вдруг замолчала, потом говорит:

— Нехорошо так, Маруся... — и заплакала.— У меня завтра получка, я все отдам, а если не хватит, ты уж добавишь.

Я вроде и слышал каждое слово, что они говорили, но как будто до меня не доходило, а тут вдруг дошло, что они о деньгах заспорили, и я сказал:

— У нас есть деньги, вот здесь.

И я подошел к швейной машине и выдвинул тот ящик, где у Були лекарства лежали, там, с краю, лежала железная коробочка из-под чая. Я отдал ее тете Вере, а она открыла и говорит:

— Тут только двести рублей, тебе еще жить и жить до приезда отца. Да ты об этом не думай, Саша, деньги — это ерунда...

Булю похоронили, а тетя Вера так и не пошла к себе, она осталась жить у нас и сказала:

— Сдам тебя с рук на руки отцу.

В поселке была горячая пора — все убирали свои огороды, варили варенье и всякое такое, и я сказал тете Вере:

— Тетя Вера, не думайте, что я маленький, я вполне могу быть один, а вы идите к себе и варите варенье.

Тетя Вера сказала, что никуда она не пойдет, но что верно, то верно — надо нам убрать огород, а то бабушка трудилась, портила себе здоровье... И тетя Вера захлюпала и высморкалась в передник.

Я даже не мог подумать подойти к огородной калитке, ну вот не мог, и все тут. И я сказал:

— Давайте мы сначала у вас все сделаем, а потом у нас.

Тетя Вера посмотрела на меня и протянула:

— Ну, ла-а-дно.

И мы каждый день, как тетя Вера приходила с работы, отправлялись к ней. У нее был маленький сад и яблони совсем крошечные, но яблок на них полно. Мы собирали яблоки и самые хорошие, крепкие заворачивали в старые газеты и складывали на полки в сарайчике, а те, которые с червоточиной, мы бросали в большой таз.

Потом тетя Вера прямо тут же на улице поставила на ребро два кирпича, а я собрал сухие яблоневетки и огуречные плети и подкладывал все это под таз между кирпичами понемножку, чтобы не было дыма, а то варенье так дымом пропахнет, что и есть не захочешь.

Тетя Вера говорила:

— Ну, все уже у меня поделано, теперь к вам пошли, а то дожди зарядят, и помидоры погниют.

А я оттягивал:

— Как же, тетя Вера, участок надо убрать.

Хватал грабли и начинал сгребать оставшуюся ботву.

В конце концов тетя Вера вздохнула и сказала:

— Вот что, Александр, хватит тебе бабьими делами заниматься, давай-ка за ум берись, а на вашем огороде я сама все поделаю — невелика работа готовый урожай собрать.

И я пошел в школу. Когда я подумал, что всего-то прошло пять дней, всего пять дней, даже и представить себе невозможно! Больше всего на свете я боялся взглядов, и я так опустил глаза, чтобы видеть только у себя под ногами, и больше ничего, и так я дошел до своего класса и до своей парты. Конечно, я ничего не понимал, что объясняют, и даже ничего не слышал, только думал, хоть бы ничего никто у меня не спросил и про меня не сказали. Только об этом сидел и думал. Я, конечно, понимал, что надо идти в школу, нельзя же теперь вообще бросить школу, но какая это была пытка! Но, кажется, все меня решили оставить в покое. После уроков я выскочил первый из класса, прибежал домой, схватил что-то на ходу, сбросил форму и надел свои сатиновые шаровары, взял клетку с Морисом и ушел. Я боялся, что вот-вот должна была вернуться с работы тетя Вера. В этот день я даже и ее не мог видеть.

Я вышел из поселка и пошел по дороге в горы. Был конец сентября, и стояли еще такие жаркие дни, каких у нас в Москве не бывает даже и в разгар лета. Время от времени я останавливался, чтобы нарвать кизила, он был чуть переспелый и такой душистый и сладкий.

Чуть в стороне от дороги росла старая дикая груша. Я подошел. Какая приятная легкая тень под деревом, до чего вкусные маленькие твердые дикie груши. Я выпустил Мориса из клетки, пусть он поест вволю груш, вон их сколько в траве, а сам лег под дерево.

Земля была такая сухая и горячая, я чувствовал ее, как будто прижался спиной к печке.

Не переставая стрекотали кузнечики, жутко пахло полынью, горячо грело солнце. Все это было так, я понимал, что это так,



но совершенно ничего не чувствовал, как будто я смотрел на все это через толстое стекло.

Низко-низко пролетел самолет, незнакомый шум, наверно, испугал Мориса, и он со всех ног бросился ко мне, уткнулся носом мне под мышку и прижался к моему боку. Я чувствовал, как дрожит все его тело. И тут я заплакал. Я заплакал первый раз. Я плакал, и тело мое тряслось, наверно, еще сильнее, чем у Мориса, а он поднял на меня глаза, он, наверно, ничего не понимал и только двигал ушами...

С того дня у меня так и пошло. В школе я еле-еле отсиживал уроки, и учителя почему-то меня не спрашивали, а потом я брал Мориса и уходил в горы. Я облюбывал одно такое местечко, меня никто там не видел, зато я видел все. Это было что-то вроде неглубокой пещеры в скале, которая висела прямо над морем. К моей пещере вела чуть заметная тропиночка, кругом росли кривые перекрученные сосны и колючие маленькие дубки, так что мою тропиночку и совсем не было видно. Я полюбил там сидеть и часто сидел часами и смотрел на море до того, что у меня начинали болеть глаза. Но сколько ни смотрел я на море, мне ни разу не привиделся больше тот белый парусник, который привиделся мне однажды, и я думал, будет ли еще в жизни хоть что-нибудь хорошее, и почему, почему так быстро все кончилось, а я и не знал, как мне было хорошо раньше.

Возвращения отца и Ксении Ивановны я ждал со страхом, я знал, что они сейчас счастливы, а мне казалось, что я уже никогда, никогда не буду счастлив, и я думал о них со снисхождением, как будто я взрослый, а они дети.

Единственный человек, который, наверно, понимал все, что во мне происходит, был Пал Палыч, но я бегал от него, как от огня. Почему-то с ним мне было тяжелее, чем с кем-нибудь другим. Не знаю сам почему. А тетя Вера, при всей своей доброте, не могла понять, да и просто не знала всех моих бед.

Однажды я вернулся домой с гор усталый и разбитый своим непосильным одиночеством. Мне казалось, что сил у меня хватит только дотащиться до своей кровати.

Вдруг я вижу: посреди двора стоит тетя Вера, явно меня поджидает.

— Послушай-ка, Саша, — говорит она. — К нам заходил рыжий этот, Александр Григорьевич, что ли? Говорит, что хочет тебя оформить на работу. — И тут вдруг тетя Вера засуетилась, вытащила из кармана фартука платок, высморкалась и начала причитать: — Вот что значит без бабушки остаться, отцы, они что, им лишь бы скорей кусок хлеба зарабатывать! А учиться!..

Я прямо обалдел.

— Тетя Вера! — закричал я. — Что это вы говорите, какой кусок хлеба! И какие там отцы! Вы же знаете, что отец и не знает ничего, а школа тут ни при чем, они же ненадолго приехали. Что я не могу вечером, что ли, уроки делать?

Тетя Вера успокоилась, да, видно, она это так просто наговорила — нервы сдали!

А у меня вся усталость прошла, как будто бы ее и не было, я прямо как будто от долгого сна очнулся.

— Тетя Вера, — закричал я как сумасшедший, — дайте мне чистую рубашку, я пойду к археологам!

— Куда же ты, ей-богу, на ночь глядя? Сходил бы завтровка.

— Ой, тетя Вера, да я не дотерплю до завтра.

Я вымылся по пояс под умывальником на улице, растерся так, что щеки и грудь у меня стали красные, как горный мак, и, схватив рубашку, которую тетя Вера вынесла из дома, побежал к палаткам археологов, на ходу натягивая рубашку.

— Господи ты боже мой, — вслед мне причитала тетя Вера, — вот торопыга-то, рубашку-то хоть бы на месте надел! Разобьешься же, ей-богу.

А я мчался, сердце у меня стучало, нетерпение было у меня такое, что я еле жив остался, пробежав эти триста метров, которые отделяли от нашего дома палатку археологов.

«Как я мог! Почему я не ходил к ним столько времени!»

Я вбежал в палатку, дыша, как загнанная лошадь.

Вбежал и врос в землю, как каменный столб. Сидят в кружок на земле люди, один голову поднял, и я смотрю — ну прямо пират, настоящий пират с нашей вывески: глаз завязан



черной повязкой, шляпа соломенная с большущими такими полями и еще шрам через всю щеку. А второй — турок какой-то, что ли, или багдадский вор? Чалма на голове, борода рыжая, а усы черные. Ну этого-то я сразу узнал: Александр Григорьевич полотенце на голову намотал, ненастоящие у него только усы — черные, углем нарисованные, а борода рыжая. Ну а вот того пирата, Виктора, я, ей-богу, только потом узнал, а сначала даже понять ничего не мог. А у третьего, у художника Геры, лента через плечо и какой-то орден на животе — прямо фельд-маршал Суворов у походного костра, он как раз миску держал в руках, а Коля, который у них вроде и за повара и за всё про всё, накладывал ему в миску из котла кашу.

Я подумал, что, может, Гера картину будет писать — что-нибудь вроде запорожцев, а зачем бы тогда он и сам нарядился? Оказывается, они просто так нарядились, просто они такие веселые, ну такие веселые, совсем на взрослых не похожи.

Багдадский вор, то есть Александр Григорьевич, поклонился мне и говорит:

— Проходите, достопочтенный, сегодня вам не угрожает быть съеденным, сегодня у нас пшенная каша с тушенкой, так что не бойтесь, проходите, садитесь, будете самым дорогим гостем на нашем пиру. — И он отобрал ложку у фельдмаршала Геры — тот только глазами заморгал — и протягивает мне.

И до того у них вкусно пахла пшенная каша с тушенкой, что я навернул хорошую порцию, хоть — не подумайте — тетя Вера меня кормила что надо. А потом мы пили чай, который они варили прямо в ведре — вот чудачки! — высыпали туда пачку чаю и яблок нарезали. Ну и вкусный же чаек получился!

А потом пират Витя взял гитару и стал играть и петь, и все ему подпевали, а песни были такие, что я таких сроду и не слышал, такие мировецкие и запоминались сразу, прямо сами в голову лезли. Вот, например, что за песенка:

На острове Таити
Жил негр Тити-Мити,
Жил негр Тити-Мити
И попугай Кэкэ.

Вставали утром рано,
Съедали два банана,
Съедали два банана,
Валялись на песке.

Ну и смешная, ну такая смешная песенка! И еще много в таком роде. А то просто всякие объявления и вывески как песню пели.

Тростей, зонтов и чемо-о-данов
Ты на ступени не клади!
Не облачивайся на перила.
Стой справа, слева проходи!

И как я столько лет на свете прожил, а ни одной такой песенки не знал, обидно даже стало.

А потом они запели песню, которую я знал,— про пиратов из фильма «Остров сокровищ», и я так обрадовался, что знаю эту песню, и вместе с ними стал петь; я знал все слова и стал петь погромче, чтоб они слышали, что я знаю все слова, а припев: «Эге-гей и бутылка рома!» — я так кричал, что в горле больно стало.

А потом, когда песню допели, Александр Григорьевич меня и спрашивает, знаю ли я о том, что веселюсь на своих именинах.

— Нет,— говорю я,— веселюсь просто потому, что мне с вами весело, а день рождения у меня уже был, еще летом.

А они все переглянулись так хитро, и Александр Григорьевич говорит, только уж не мне, а им, ну то есть всем археологам:

— Так-таки совсем и не догадывается! — И вдруг тут он посерьезнел и такое сказал, что я чуть не лопнул и от удовольствия и от радости. А сказал он то, что сегодня, оказывается, день рождения нашей экспедиции, и причем не простой экспедиции, а первой послевоенной.

— Для тебя первой,— сказал Александр Григорьевич,— а для нас больше чем первой.— Так он и сказал: «...больше чем первой». — Первая послевоенная! Ты хоть понимаешь, тетка, что это значит?

Оказывается, как раз сегодня они получили ответ из Москвы, что наша экспедиция утверждена и что я (подумать только! Нет, это даже трудно себе представить!) утвержден штатным коллектором.

Я как вскочил, так даже свой чай вылил прямо на орден Геры, ну и орден-то у него на животе висел, так что и Гера вскочил и тоже стал кричать, только, кажется, не от радости.

А я как закричу:

— Дядя Саша!

А Александр Григорьевич даже зубами заскрипел:

— Какой,— говорит,— я тебе дядя? Я начальник твой, и раз уж попал ко мне в подчинение, чтоб дисциплина была,— говорит,— как на фронте.

— Да я,— говорю,— знаете как рад? Это от радости!

А он говорит:

— Знаю, еще бы ты был бы не рад, ну все равно это не повод, чтоб панибратствовать.

А Гера тут и говорит:

— Если бы он был не рад, я бы сейчас вот своими руками снял бы ему штаны и так бы ему всыпал по первое число, а потом выпустил бы его без штанов: иди, парень, на все четыре стороны, только к археологам близко не подходи.

А Витя рассказал, что, когда его приняли первый раз в экспедицию, он от радости целых пять минут ходил на руках, а потом задел ногами буфет, и буфет покачулся, и оттуда выпал любимый мамин сервиз, который она всю войну берегла, не выменяла.

А потом Александр Григорьевич вспомнил про то, как я говорил, что у меня «глаз насквозный», и сказал, что они будут давать меня напрокат другим экспедициям в обмен на тушенку и сгущенное молоко.

Я, конечно, понимал, что это шутки, но все-таки немножко обиделся, а Александр Григорьевич засмеялся и сказал, что в археологи принимаются только настоящие мужчины, а настоящие мужчины испытываются двумя вещами — несчастьем и со-



ленной шуткой и что я первое испытание прошел, а второе еще не совсем.

И тут вдруг Александр Григорьевич стал какой-то серьезный и говорит: вот мы, мол, тебя все шуткой испытывали, а если говорить всерьез, то нашу экспедицию только из-за тебя и утвердили.

А я и говорю:

— Сами говорите, что всерьез, а сами опять шутите!

А Александр Григорьевич вроде бы совсем стал серьезный, так что я и не пойму ничего.

И Витя тут еще говорит:

— Точно, старик, из-за тебя.

Ну, а я и совсем ничего не понимаю:

— Как это так?

— А вот так,— говорит Александр Григорьевич.— Все из-за твоего слоновьего горшочка.

— А я, хоть застрелите меня, все равно ничего не понимаю: там же хлам какой-то был, ерунда всякая. Свалили в большой горшок, что не нужно, чтоб на свалку тащить, поленился генуэзец какой-то.

— Стоп! — вдруг прогремел тут Александр Григорьевич.— Стоп, машина! Генуэзец, говоришь; был бы генуэзец — не было бы экспедиции. Вот тебе и генуэзец. Нет, брат, тут речь пойдет о временах куда более древних. Вот это-то все барахло, которое, ты говоришь, поленились на свалку оттащить, и рассказало нам, что это был не генуэзец вовсе, а киммериец, причем, судя по его скарбу, вполне мирный киммериец, а не вояка какой-нибудь. А почему вдруг киммериец и пифос античный, а? Ответь мне. Не можешь. Этого, брат, и мы сказать пока не можем, а вот покопаем еще, тогда, может, и скажем. А тебе-то, тетка, еще учиться ох как надо!

Я совсем сник. Хотя Александр Григорьевич говорил со мной совсем просто, без всяких там научных слов, я понял, что я ничегושеньки не знаю, сколько мне всего надо узнать и как я только смогу!

Но Гера снова взял гитару и запел чудесную песню, и мои заботы улетучились. Гера пел песню об археологах и смешную и серьезную сразу, про то, что вот Колумб ехал открывать новые земли далеко за океан, а мы туда поехать не можем, потому что билет дорого стоит, но зато мы рядом, в своем собственном дворе, открываем новые земли.

И это ведь точно! Как будто бы он пел ну прямо про нас. У нас как раз так и получалось. Мы открыли какой-то новый мир ну совсем рядом, только вот завернуть за дом и пройти двадцать шагов.

Мне стало снова до того хорошо с ними, с моими новыми друзьями, до того легко и весело, что я прямо не знал, что бы мне такое сделать. Вдруг я сорвался, выбежал из палатки, побежал домой, влез на свою кровать и стал отшлифовать вывеску «Приют пиратов» (я ее повесил тоже на стенку,

рядом с картиной), побежал снова к ним, влетел в палатку и развернул перед ними вывеску — вот!

Они обалдели, конечно.

— Ну, тетка, — сказал Александр Григорьевич, — ты, оказывается, первоклассный художник, что же ты скромничал и говорил, что рисовать не умеешь?

Мне стало стыдно: я же и не думал это выдавать за свое, и я сказал:

— Нет, это не я рисовал, это... в общем, один человек... Я принес просто показать. Она на нашем доме висела, и я подумал, что такую же можно и вам повесить на палатку.

Вернее, когда я побежал за ней, я ни о чем таком и не думал, просто ни о чем не думал, а теперь как-то неудобно стало: может, они решили, что я подарить ее принес, а теперь жалею.

— Вы только не подумайте, что мне жалко, — сказал я, — просто я не могу ее подарить, а пусть Гера такую же нарисует.

— Не знаю, право, нарисую ли я такую. Это же настоящее! Надо ведь так же чувствовать. — И Гера стал вдруг серьезным-серьезным. — Это прямо как у Пирсмани, надо так же любить и чувствовать жизнь, а иначе будет слабая подделка. Посмотрите, Александр Григорьевич, вы оценили буйство красок? Посмотрите на эти гирлянды — вот как человек любит жизнь!

И я стоял и держал развернутую вывеску на своей груди. Я никогда не думал так об этой вывеске, а сейчас я подумал, как вот Гера говорит о Буле, и мне стало сразу и хорошо и как-то не по себе, что-то у меня внутри живота защекотало, и я сказал им:

— Это моя бабушка рисовала.

Они все молчали, а потом Александр Григорьевич встал, стянул с себя чалму из полотенца и сказал:

— Никогда не забывай свою бабушку, тетка!

Я пришел в тот вечер от археологов очень поздно. Тетя Вера ждала меня с ужином. Но я не мог, конечно, есть, и потому что был сыт по горло и по горло был полон всякими новостями. За эти два часа я стал совсем другим человеком, но, наверно,

внешне это не очень-то было заметно. Ну, а как это будет заметно, ведь на вид я остался такой же. Тетя Вера стала меня уговаривать съесть ну хоть кусочек и смотрела на меня так жалостливо, а я вдруг спрашиваю ее:

— Тетя Вера, а как ваше отчество?

— Вот еще выдумал! И на что тебе мое отчество? Что, уж тетей не хочешь звать?

— Да нет, не потому, что не хочу, а просто я уже большой, а «тетя» и «дядя» — это так только дошкольники говорят. Это знаете что? Это — панибратство.

А тетя Вера ни с того ни с чего заплакала.

— Вот, ей-богу, жизнь-то какая пошла. От горшка два вершка, а уж в работу, и слов каких-то нахватался. Еще выпивать там начнешь, упаси бог.

Тете Вере непонятно было то, что у меня сегодня, вот только что, в этот вечер, произошел такой важный поворот в жизни, так же как и непонятны были все мои переживания до сегодняшнего дня. Она по-своему жалела меня, хотела оградить меня от преждевременных забот. А ведь я ей был совсем-совсем чужой. Делала она это в память Були. И я это понимал.

И вот я стал работать в экспедиции уже не как любитель, а как профессионал. Я был штатным коллектором экспедиции.

Наскоро проглотив после школы обед, я переодевался: надевал старую, выцветшую ковбойку, шаровары и специально купленную на базаре соломенную шляпу с большими полями — на этом особо настоял Александр Григорьевич.

И действительно, очень скоро я понял, что, пока я не работал, я не знал, что такое жара. Потому что одно дело — пройтись вразвалочку, не спеша под солнышком и другое дело — несколько часов копать. Даже октябрьское солнце покажется жарче июльского.

А надо сказать, что копали мы с остервенением. Наш азарт подогревало то, что буквально в первые же часы мы стали что-нибудь находить.

Гера первым нашел жернов и сплясал какой-то танец наподобие лезгинки, держа жернов, как бубен, на вытянутых вверх руках. А Александр Григорьевич сказал:

— Жаль, что этот жернов такой маленький, ручной, а не такой, какой ворочали ослы, тогда бы мы посмотрели, как ты с ним поплясал бы.

А потом мы все начали находить жуткое количество осколков глиняной посуды. Но попадалась и совершенно целая. Витя даже сказал: не открыть ли нам на базаре лавочку по сбыту тары для простокваши?

Если сказать по-честному, я здорово уставал вначале. Я, конечно, ни разу не показал виду, но так иногда уставал, что вечером, сидя за уроками, часто засыпал, уронив голову на тетради.

Александр Григорьевич вроде бы не делал мне никаких поблажек — и так я ведь работал не полный день, а только после школы. Но на первых порах он часто под видом каких-либо поручений давал мне возможность немного размять затекшую спину и ноги. То пошлет меня к колодцу за свежей холодной водой, то в лагерь за карандашами и бумагой, то попросит зарисовать узор какого-нибудь там найденного горшка.

А вообще Александру Григорьевичу часто приходилось утихомиривать наши страсти, и часто он говорил, что всем надо брать пример с моей степенности. Я не всегда знал, когда он шутит, а когда нет, но вообще-то у меня и раньше такая привычка была: если я найду что-нибудь стоящее, никогда не кричу на весь свет.

Мы находили не только всякие отдельные вещи. В разных местах мы стали наткаться на каменную кладку. Это были остатки фундамента жилищ, и на этом уровне раскопали задернованный зольный слой (к этому времени я привык уже говорить как наши). Чуть в стороне мы нашли остатки какого-то укрепления, защищенного валом и толстой стеной из больших необработанных камней.

И вот внутри этого укрепления мы напрасно потеряли целую

неделю, а сил столько, что можно было бы, наверно, целый поезд втащить на гору Ай-Петри.

Александр Григорьевич говорил нам, что здесь обязательно будет оружие, и мы так надеялись его найти. Ну и ничегошеньки! Хоть бы один паршивый глиняный черепок нашли, ни одного, а не то что там оружие.

Александр Григорьевич сам копал так рьяно, что я думал: уж он-то, если и не до оружия, до центра Земли докопается. И вихры свои рыжие дергал и бороду теребил, мне даже жалко его было, а потом он как хлопнет себя по лбу — ну, ей-богу, как контузия у него не случилась, не знаю! — и говорит нам:

— Да уж точно говорят: дурная голова рукам покоя не дает!
Гера робко сказал:

— Ногам покоя не дает.

А Александр Григорьевич как зарычит, прямо как лев:

— А я говорю — рукам! Не было здесь никакой крепости, не было, даже и рядом не лежала!

А мы всё говорим:

— Как же так — не было, а стены?

А он рычит:

— Вал, стены! Да это мы всё о войне думаем, а они за этими стенами свой скот держали, чтоб не разбежался. Так вот. Овечки, козочки, а я — дурак! — И он снова себя хлопнул по лбу. — Время сколько потеряли зря!

А мне тут стало жалко его уже всерьез, и я сказал:

— Но ведь мы не зря потеряли время. Мы зато доказали, что здесь жили мирные люди, скотоводы.

И Александр Григорьевич положил мне свою руку на плечо, так что я даже присел немного, и сказал:

— Ты молодчина, тезка, будет из тебя толк.

И хоть я сказал это так просто, ну просто, чтоб его утешить, все равно мне было очень приятно услышать такое от Александра Григорьевича.

Вскоре вернулись отец с Ксенией Ивановной. Отец расспрашивал тетю Веру, как все было, благодарил ее за то, что она

не оставила без внимания «ребенка», за то, что дала свои деньги на похороны, и обещал вернуть сразу после получки. Ксения Ивановна плакала. Тетя Вера подождала, а потом говорит:

— Деньги, Леня,— это ерунда, не стоит о них и говорить, а для Саши я тоже ничего особенного не сделала, то, что я это время у вас жила, так ведь мне что одной, какая разница — дети не плачут, муж не заругает, а вот тут есть один человек, который для Саши побольше моего сделал, и тебе, Леня, надо бы с ним поговорить.

И тетя Вера рассказала про все: про Александра Григорьевича и про мою работу. Отец и говорит:

— А школа как же?

А тетя Вера ему говорит:

— Я тоже сперва боялась, да, видно, с делом еще лучше получилось: так бы он горевал, а так все занят был. Да ты, Леня, умней меня, сам все поймешь, ты только поговори с Александром Григорьевичем, очень он человек душевный.

Вот так и случилось, что Александр Григорьевич пришел к нам в гости, отец сам ходил звать его, и по этому поводу Ксения Ивановна даже ужин сделала специальный. Они втроем ужинали на кухне, а я был отправлен в комнату делать уроки, но я все-таки немного кой-чего слышал, как отец сначала благодарил Александра Григорьевича, и они что-то долго тихо говорили, а потом отец сказал громко, и я услышал:

— Но это же игрушки, это детская игра, неужели, Александр Григорьевич, к этому можно относиться серьезно! Все ребячество, ребячество,— говорит мой отец,— повзрослеет ли он когда-нибудь? Помните, как мы с вами, Александр Григорьевич, в четырнадцать лет? Вкалывали как взрослые, а вечером — на рабфак.

Ну, я уже знал, что это был любимый конек моего отца, и он оседлал его и поехал. Я это слышал сто раз — и про рабфак и про все это, но сейчас мне было немножко обидно, и пожалел даже, что все слышно через дверь, хотя сначала мне было интересно, о чем это они будут говорить.

Ну, а Александр Григорьевич — я-то уж знаю, какой он

бывает, ой-ей-ей, не дай бог ему на язычок попасть, еще когда за тобой грешок там какой-нибудь... Но я и не знал, что он так срезать может не только нас. Александр Григорьевич и говорит на это моему отцу:

— Положим, — говорит он без всяких там простите-извините, — вы дважды неправы. Во-первых, — говорит, — наши дети не должны жить как мы, иначе, — говорит, — все кошке под хвост. (Так прямо и сказал.) И наша юность тяжелая, и то, что мы воевали, — все, все тогда зря. А вторая ваша неправда более тяжелая, чем первая. Вы несправедливы к вашему сыну, несправедливы к нему вдвойне. Он-то как раз тянет трудовую лямку с детских лет — нет, не перебивайте! — я имею в виду не те несколько недель, которые он работал у нас в экспедиции, а быт, Леонтий Николаевич. Что вы, не видите, что ли? Выжить в эти страшные годы — это тяжелый труд!

— Вы правы, Александр Григорьевич, а я старый осел...

Я слышал по голосу отца, что он совсем, ну начисто сбит с катушек, положен на обе лопатки, и мне до того стало его жалко, хоть и Александр Григорьевич меня защищал, а все равно до того мне жалко стало отца, что хотелось выскочить в кухню и броситься к нему, и чтоб он меня сжал между коленок. Но я продолжал сидеть на табуретке перед своим письменным столом, и передо мной лежала раскрытая тетрадка по алгебре, но сам я был сейчас так же далек от алгебры, как от Филиппинских островов.

И отец начал снова говорить, и голос его был тихий и какой-то побитый:

— Что касается трудностей жизни и быта, то тут, Александр Григорьевич, вы правы на все сто процентов, но вот что меня все-таки беспокоит — я же о нем думаю, о Саньке. Детскость его эта запоздалая, инфантильность, ведь жить-то ему трудно будет. Фантазии, кладоискательство в его-то возрасте... Смешно! Как будто в «Томе Сойере». Мне бы хотелось, чтоб парень увлекся серьезным каким-нибудь делом — мало ли, математикой, физикой, биологией, ну пусть хоть история! А то кладоискательство, раскопки... Фантазия!

А Александр Григорьевич спокойненько так говорит, но я-то знаю, что за этим спокойненьким будет. Так вот он и говорит отцу:

— Да уж,— говорит,— в нашем деле без фантазии никуда, в нашем деле,— говорит,— без фантазии все равно что работать спасателем, не умея плавать...

А отец-то и не понял, что его уже подсекли, как ставриду на крючок, и свое:

— Я и говорю — фантазии, фантазии...

Вот тут Александр Григорьевич его и прихлопнул.

— А без фантазии,— говорит он,— разве что в сортир пройти, а так,— говорит,— ничего более путного не сделаешь. Чай и то без фантазии не заваришь.

И тут наступило долгое молчание. Я так подумал: «Отец, наверно, обалдел от того, что ему Александр Григорьевич сказал, а Александр Григорьевич, наоборот, наверно, наслаждается, как он отца срезал». Срезать-то Александр Григорьевич умеет еще как! Это мы все, кто с ним работали, знаем, но не таковский он, чтоб лежачего добивать, и потому совсем уже другим тоном, и вполне даже уважительным, стал дальше говорить:

— Фантазия, она ведь и в вашем деле не на последнем месте. Но это еще не все. Вот вы, Леонтий Николаевич,— четыре года по окопам и уже не чаяли, когда домой вернетесь. А археологи ведь всю жизнь так. Ведь подумайте только, всю жизнь — палатка, примусы, костры, подгорелая каша, а лет-то уж под сорок, а жизнь проходит, а в городе семья, дети без тебя вырастают, а жена... Вот так-то всю жизнь. А вы говорите — детская забава... Тут особую любовь надо иметь к нашему делу, я бы даже сказал: одержимым надо быть.

И как только сказал Александр Григорьевич это слово, ну про одержимость, я Булю вспомнил, вспомнил, что она как раз отцу то же говорила, ну про одержимость. А откуда она все знала так? Ведь Александр Григорьевич профессор!

— Потому-то,— говорит Александр Григорьевич,— я и взял вашего мальчика к себе в экспедицию, хотя я совсем даже не за то, чтоб дети работали. Но,— говорит,— тут случай особый. Тут

никак нельзя было мимо пройти. Никак нельзя. Такие ярко выраженные способности. — И Александр Григорьевич заговорил тише, но я все равно слышал каждое слово: — Такой подбор человеческих качеств, знаете ли, просто на редкость...

— Так вы считаете, что у Саши способности? Но достойно ли это дело мужчины?

— Если вас беспокоит это, то, уверяю вас, для человека знать свое прошлое — не менее важно, чем строить дома, чинить корабли. Ведь если люди не будут знать своего прошлого, они не смогут учиться на своих ошибках, и тогда все начнется сначала: новый Наполеон, новый Гитлер, новые столетние войны и крестовые походы, новые Освенцимы и костры аутодафе, благодарные народы снова будут сжигать своих героев, как сожгли Жанну д'Арк...

— Да, Александр Григорьевич, — сказал после этого отец, — признаю себя неправым по всем вопросам. Наверное, я не гожусь в воспитатели.

Александр Григорьевич молчал. Потом он благодарил за ужин, а потом они задвигали табуретками, и вдруг отворилась дверь, и Александр Григорьевич вошел в комнату:

— Тезка, я не помешаю штудировать науки?

— Я уже выучил.

Александр Григорьевич подошел к моему письменному столу — этот стол был, конечно, не настоящий, мы с Булей его соорудили из ящиков, но в нем даже был ящик, который выдвигался, и к нему была прикреплена круглая дверная ручка. Александр Григорьевич внимательно рассмотрел мой стол, даже подвигал ящик и спросил меня:

— Столярничаешь?

— Да нет, это я не сам.

Потом Александр Григорьевич стал рассматривать картины, которые у меня висели над кроватью; вывеску «Приют пиратов» он уже знал, а другую нет, и сейчас он ее внимательно рассматривал и читал подпись.

— Ну-ну, тезка, а какие новые земли ты открыл?

— Да это же так просто. Ну, как в сказке!

— А в сказке не бывает ничего так просто, и то, что я слышал о твоей бабушке, никак не вяжется, чтоб она писала «так просто» и «вообще». Как ты сам-то думаешь?

А я думал то, что какой он умный, а я и не сообразил. И Буля, конечно, что-то имела в виду, она бы не стала писать просто так, что придет в голову, и почему я ее не спросил, а теперь я никогда не узнаю.

— А может быть, новая земля — это то, что ты открыл древних киммерийцев, то бишь, ты считал генуэзцев? Дворец сей я узнаю, и обрыв как раз подходит, вот конь...

Тут я, ни слова не говоря, выскочил из комнаты, и принес из сарайчика клетку с Морисом, и выпустил его на стол.

— Ну что ж! — сказал Александр Григорьевич. — Так я и думал, конь в яблоках весь. А где же принцесса?

— Она уехала на Урал.

И как-то так он это спросил не просто, я сразу понял, что у него что-то такое на уме.

— Ну, насколько я знаю географию, Урал ведь на нашей планете и даже, кажется, в пределах нашего государства. А? Письма туда доходят?

— Нет, не доходят. Я не могу ей писать. Я ее предал.

Александр Григорьевич ничего не стал спрашивать, а только стал ходить туда-сюда вдоль кровати, и его рыжая шевелюра почти что подметала потолок. И вдруг он остановился сразу, еще посмотрел на картину и сказал:

— А знаешь что, тезка! Как я это сразу не понял? Ведь эта картина не только о том, что было, а и о том, что будет.

— Как это?

— А вот так, очень просто!

Александр Григорьевич схватил табуретку и сел на нее верхом, как великан на ослика.

— Вот смотри. — И он растопырил свои великаньи пальцы. — Родной дом есть. Конь в яблоках? Есть! Новая земля есть, ты открыл новую землю. Но кто сказал, что новые земли обязательно открывать только на поверхности, их можно открывать и в глубине. Ведь так? Все сходится. Одно только не сходится.

Здесь сказано: не новую землю, а новые земли — ясно тебе? Раз все остальное сходится, значит, и это сойдется. Когда-нибудь ты откроешь еще новые земли, но это не обязательно должна быть земля древних киммерийцев или гетуэзцев и вообще не обязательно должно быть так, как было сейчас, ты понимаешь меня, тезка? Может, ты откроешь эти новые земли даже и вовсе не на земле и не в земле, а, скажем, в себе, а может, в людях, ведь открыл же ты сейчас что-то новое в своей бабушке, так? Ясно только, что тогда все сбудется точно, как здесь нарисовано. Тогда, когда ты еще и еще откроешь новые земли. Но, наверное, это будет не так быстро и не так легко, — ты заметил, как потрепаны паруса на картине и какое усталое лицо у капитана?

Я сидел, и молчал, и чувствовал, что еще не все понимаю, но что-то до меня доходит, что-то там во мне ворочается. Я пережил один раз похожее, когда все, что случилось со мной в больнице, представил себе заново. Как ходила ко мне Буля в больницу, и как ей было трудно, и как она страдала из-за Борьки, а все из-за того, чтоб я поправился. И вроде бы мы с Булей всегда были заодно, а не понимал я тогда ничегошеньки. А теперь вот второй раз уже со мной такое происходит. Я ведь думал, что знаю свою Булю до последнего седого волосочка, а выходит, что совсем-то я не все знал. Сколько она обо мне думала, и может, наперед уже догадывалась, что я докопаюсь до этих самых киммерийцев или еще чего. Верила она в меня, это точно. А может, и про Джоанну тоже все знала? Выходит, Буля-то знала гораздо больше, чем я думал.

Первый раз я понял тогда про Булю, сам по себе, после того, как Буле стало плохо, а теперь потому, что мне Александр Григорьевич разгадал картину.

Но может, так и еще будет, и еще, и еще. И может, я еще много чего нового буду находить в Буле, хоть она уже умерла.

И потом еще совсем другое. Я так и не всегда понимал, когда Александр Григорьевич говорил всерьез, а когда нет. Правда, он считает, что я еще встречу с Джоанной?!

Уехали археологи. И началась у нас новая жизнь. Совсем, совсем другая жизнь. Утром мы вставали, а Ксения Ивановна раньше нас с отцом, она кипятила чайник и делала всем бутерброды. Потом мы все расходились: я в школу, а отец с Ксенией Ивановной уезжали на рабочем автобусе на завод. Дел домашних почему-то почти не стало. Только получу хлеб по карточкам, за водой схожу, да не как раньше, а всего раз: ведь поливать-то не надо было.

А вечером к приезду отца и Ксении Ивановны я кипятил чайник. Вот и все дела. Ну, еще днем сварю себе чего-нибудь — картошку или кашу кукурузную.

После того как уехали археологи, я снова стал ходить в горы. Брал с собой клетку с Морисом и забирался черт те куда. Иногда даже там уроки учил, устные, конечно. Если бывали ясные денечки, я залезал в свою пещеру и смотрел вниз на море. Море казалось таким теплым, таким летним. Смотрел, как рыбаки сети снимают с кольев, как пароходы идут. Иногда задумаюсь — и мне какая-нибудь лодка покажется вдруг парусником с белыми парусами, а на носу стоит капитан в бархатной куртке, в шляпе с пером и трубку курит. И мы подплываем, и нас встречает много-много лодок, все нас приветствуют, кричат «ура», а на берегу стоит Джоанна и держит под уздцы прекрасного коня в яблоках.

Если когда-нибудь случайно вспомню про больницу, мне не по себе становилось. Как я не видел тогда, ничегошеньки я не видел и не понимал!..

Как-то я написал письмо Александру Григорьевичу и теперь занимался тем, что высчитывал, через сколько дней может прийти от него ответ. Я считал: мое письмо ну пусть шесть дней — то да се, пока получит, пока прочитает, пока соберется ответить, хоть он долго не будет собираться, — и обратно шесть дней. И я прикидывал, какого числа я могу получить от него письмо. Хотя я себе и говорил, что раньше и быть не может, все-таки дня за три до высчитанного срока начал подлавливать почтальона Таню и спрашивать ее, нет ли мне письма.

И один раз в совсем даже неожиданный день почтальон Таня окликнула меня на дороге:

— Эй, Саша, тебе извещение на бандероль!

Я схватил извещение и сначала никак не мог понять, от кого это.

А Таня мне говорит:

— Да куда ты там смотришь? Это же фамилия контролера на почте. А бандероль из Москвы, с тебя магарыч.

В школе я все уроки думал, от кого же это, хотя наверняка это от Александра Григорьевича, а сначала я подумал, что от Джоанны, но раз из Москвы, то от Александра Григорьевича. И после школы я побежал сразу на почту и ужасно волновался: а вдруг мне не выдадут, тут же надо написать номер паспорта, а у меня не только номера, но и па́спорта нет?

Но мне выдали — я заполнил только свой адрес и расписался. Тут же разрезал бритвой бечевку и развернул бумагу — передо мной был «Джек-Соломинка». Я обалдел, но нет, это была не та, не Джоаннина книжка, это была другая, в новенькой совсем обложке — конечно, это подарок Александра Григорьевича. Я открыл книжку, и на первом листе шла размашистая надпись:

«Открывателю новых земель Александру Кубову» — и стояла подпись Александра Григорьевича.

Была и еще одна книжка: «История Древней Греции». Та была без надписи.

Я взял книжки и пошел. Когда я уже открывал дверь, мне крикнули:

— Эй, парень! А кто бумагу будет за тобой убирать?

Я вернулся и сунул бумагу и бечевки в корзину. Книги я не положил в портфель. Портфель я нес в одной руке, а книги — в другой, и все время смотрел на них, и открывал носом обложку «Джека», и снова читал надпись.

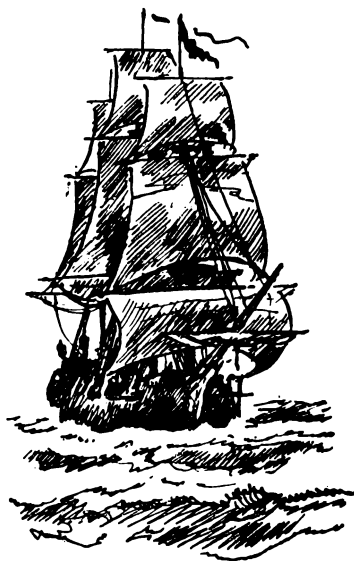
Было уже холодно, лужи на дороге затянулись тонкой ледяной коркой — я наступал на нее, и она сразу разбивалась как стекло.

Я шел и думал.

Будет весна, и придет Александр Григорьевич, и мы будем копать, и теперь-то я буду уже настоящий профессионал, а потом еще лето и еще лето, а потом настанет время, когда я поеду в Москву и буду поступать в университет на истфак, отделение археологии.

Буля! Помнишь, как ты жалела, что я не умею ни рисовать, ни петь, ни играть на гитаре, но, знаешь, мне это не понадобилось. Ты так порадовалась бы за меня, Буля! Неужели ты никогда ничего обо всем этом не узнаешь?

Ну, подай мне какой-нибудь знак, Буля, как тогда, когда ты сжала мне руку...



СОДЕРЖАНИЕ

ХЛЕБ ДЛЯ ФРОНТА

3

НОВЫЕ ЗЕМЛИ
АЛЕКСАНДРА КУБОВА

113

Для младшего школьного возраста

Нинель Ильинична Максименко

ХЛЕБ ДЛЯ ФРОНТА

*

НОВЫЕ ЗЕМЛИ АЛЕКСАНДРА КУБОВА

ИБ № 6230

Ответственный редактор Е. К. Махлах. Художественный редактор Т. М. Токарева. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры А. Ф. Завадская и Л. А. Рогова. Сдано в набор 06.05.83. Подписано к печати 09.10.83. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,02. Усл. кр.-отт. 14,01. Уч.-изд. л. 11,44. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3044. Цена 70 коп. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Максименко Н. И.

М52 **Хлеб для фронта: Повести/Рис. В. Высоцкого. —**
М.: Дет. лит., 1984. — 223 с., ил.

70 к.

В книге две повести: первая — о периоде Великой Отечественной войны, о помощи ребят фронту, вторая — о послевоенном времени, в центре ее приключения мальчика, попавшего в экспедицию археологов.

М 480300000—034 497—83
М101(03)84

Р2

70 коп.